

СЕРИЯ

**ТРАНССИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ПУТЬ**

TSSW

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

В.Н. Горенинцева, Н.Е. Никонова,
Д.А. Олицкая, Ю.И. Родченко,
Е.В. Аблогина, М.В. Павлова

ПЕРЕВОДЫ
АНГЛИЙСКОЙ
И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
ПЕРИОДИКЕ СИБИРИ

ХРЕСТОМАТИЯ



Издательство Томского университета
2016

УДК 821.161.1, 821.112.2

ББК 83.3я73

Г68

**Переводы английской и американской литературы в
Г68 дореволюционной периодике Сибири: Хрестоматия. –
Томск: Изд-во ТГУ, 2016. – 252 с.**

ISBN 978-5-7511-2442-7

Хрестоматия содержит систематически подобранные переводы литературно-художественных произведений писателей и поэтов, которые были опубликованы на страницах сибирских периодических изданий 1880–1910-х гг. и выполнены местными авторами специально для них. Параллельно русским переводам представлены английские и американские оригиналы сочинений М. Аделера, А. Конан Дойля, Р. Кипплинга, Э.А. По и др. В книге впервые комплексно репрезентована альтернативная рецепция инонациональной словесности, открывающая специфику регионального культурного сознания.

Для студентов, обучающихся по бакалаврским и магистерским программам по направлениям подготовки 45.04.01 – Филология, 45.03.03 – Издательское дело; по магистерской программе «Сибирские исследования» по направлению подготовки 03.06.00 – История; магистерской программе «Социальная антропология и этнология» по направлению подготовки 46.04.03 – Антропология и этнология; бакалаврской программе по направлению подготовки 42.03.02 – Журналистика.

УДК 821.161.1, 821.112.2

ББК 83.3я73

Издание осуществлено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (проект МД-4756.2016.6)

ISBN 978-5-7511-2442-7

© В.Н. Горенинцева, Н.Е. Никонова,
Д.А. Олицкая, Ю.И. Родченко,
Е.В. Аблогина, М.В. Павлова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник представляет первое в своем роде учебно-практическое издание, включающее в себя переводы, вышедшие на страницах газет «Сибирский вестник», «Сибирская жизнь», «Сибирская газета», «Сибирский листок» в период 1880–1910-х гг. Для хрестоматии были отобраны оригинальные переводы из английской и американской литературы, выполненные журналистами специально для региональной периодики и не публиковавшиеся в центральной печати.

Данный комплекс литературно-художественных текстов уникален с точки зрения историко-культурной значимости, поскольку он системно раскрывает важнейшие черты субэтнического культурного сознания сквозь призму имагологической парадигмы, то есть посредством понимания процесса формирования представлений о «своем» (национальном, региональном) и «чужом» (инонациональной словесной культуре). Эти воззрения декодируются в характерных сюжетах, мотивах, образах и жанре сочинений, выбранных авторами сибирских газет.

Корпус текстов хрестоматии позволяет значительно дополнить представление об истории и развитии словесной культуры в Сибири, что находится в русле современных тенденций гуманитаристики и соответствует направлениям исследовательской деятельности центра «Транссибирский научный путь» (TSSW), созданного в Национальном исследовательском Томском государственном университете и специализирующегося на изучении Сибири.

Хрестоматия «Переводы английской и американской литературы в дореволюционной периодике Сибири» дополняется двумя прецедентными учебно-практическими изданиями, включающими в себя избранные переводы немецкой и французской литературы, вышедшие на страницах сибирской печати конца XIX – начала XX в. Материалы этих трех изданий свидетельствуют о том, что центром региональной рецепции зарубежных тенденций и традиций в словесности на рубеже веков выступал Томск. Причиной такой локализации, и в географическом, и в идейном плане, стала высокая концентрация образованной интеллигенции вокруг основанного в 1888 году первого за Уралом российского университета, как ссыльных, так и тех, кто приехал по своей воле, чтобы служить науке, образованию, развитию русской мысли. Томская периодика выполняла миссию органа просвещения, а также превратилась в площадку для самореализации талантливых, думающих людей.

Этим вполне объясняется достаточно высокая для провинции степень зрелости этого культурного сознания, отсутствие абсолютной зависимости от столичного вектора мысли.

Среди переводов из английской и американской литературы, маркированных как выполненные специально для томских газет, некоторые представляют собой переводы произведений малоизвестных в России беллетристов, интерес к которым объясняется занимательностью сюжета. В то же время томских переводчиков привлекают имена, известные в мировой культуре: Г. Лонгфелло, Р. Киплинг, М. Твен, А. Теннисон, О. Уайльд и другие. Анализ переводов демонстрирует, что наряду с «одомашниванием», призванным приблизить текст к социокультурным условиям восприятия и снять потенциальные сложности понимания на лексико-семантическом, стилистическом и сюжетно-образном уровнях, встречаются попытки воссоздать текст, в котором сохранялись бы культуроспецифичные особенности оригинала.

Избранные переводы английской и американской литературы, вышедшие в дореволюционной периодике Сибири, представлены по персоналиям инациональных авторов, в порядке их появления на страницах газет. Композиция учебной книги, в которой перевод располагается параллельно оригиналу (*en regard*), позволяет проследить переводческие трансформации, важнейшие для понимания авторских рецептивных стратегий в процессе сопоставления текстов на иностранном и русском языках. В результате комплексного сравнения оригиналов и переводов, представленных на страницах хрестоматии, выявляются характерные особенности важнейшего этапа в истории отечественного художественного перевода в целом и региональной переводной литературы в частности. Материалы хрестоматии могут быть использованы в обучении студентов языковых специальностей в рамках курсов по истории, теории и практике перевода, по истории зарубежной и региональной литературы, а также по истории русско-западноевропейских и русско-американских литературных контактов.

Персоналии зарубежной литературы сопровождаются комментариями, которые, во-первых, представляют их место в актуальном синхронном культурно-историческом контексте эпохи; и во-вторых, содержат библиографию критических, публицистических заметок и театральных рецензий, посвященных их творчеству и опубликованных в сибирских газетах, что позволяет читателю при необходи-

мости дополнить свое представление о характере сибирской локализации зарубежных авторов, являвшихся, как правило, видными деятелями общественно-политической и культурной жизни Европы.

Каждый из текстов переводов снабжен краткой справкой, информирующей о месте и времени публикации.

Настоящее учебно-практическое издание создано по результатам масштабной источниковедческой и исследовательской работы кафедры романо-германской филологии, проведенной в 2007–2016 гг., с одной стороны, и дополняет серию созданных Н.В. Жиликовой, В.В. Шевцовым, Е.В. Евдокимовой и др. коллегами научно-исследовательских и учебно-методических трудов томской гуманитарной школы, посвященных становлению и развитию сибирской журналистики дореволюционного периода и литературному регионализму, – с другой.

Материал хрестоматии, безусловно, будет востребован в учебном процессе (бакалаврская программа по направлению подготовки 42.03.02 – Журналистика) и исследованиях дореволюционных медиаресурсов, поскольку он расширяет и дополняет представления о содержательных и концептуальных особенностях сибирской периодической печати. Газетная полоса дореволюционной периодики представляла собой синтез текстов разных типов: оригинальных произведений местных журналистов и публицистов, перепечаток из зарубежной, столичной, провинциальной прессы, рекламы, а также разнообразных литературных жанров. В газетах публиковались стихотворения и очерки, рассказы и романы, и конечно переводы. Взаимодействие и взаимовлияние текстов разных типов, литературных и публицистических жанров, проблемы актуализации беллетристического материала в контексте формирования информационной повестки дня – решение этих и других исследовательских проблем становится возможным благодаря материалу, представленному в настоящих хрестоматиях.

Поскольку переводы входили в структуру ведущих сибирских газет и журналов, они неизбежно становятся предметом научного осмысления историков и социальных антропологов, которые обращаются к истории становления и развития сибирской периодической печати, к вопросу о том, какую роль сыграла журналистика Сибири в формировании регионального самосознания. Поэтому хрестоматия рекомендована также обучающимся по магистерским программам «Сибирские исследования» по направлению подготовки 03.06.00 – История; и «Социальная антропология и этнология» по направлению подготовки 46.04.03 – Антропология и этнология.



Макс Аделер
(Max Adeler – псевдоним Чарльза Гебера Кларка
(Charles Heber Clark, 1841–1915)

Макс Аделер (Max Adeler) – наиболее известный псевдоним **Чарльза Гебера Кларка (Charles Heber Clark, 1841–1915)**, американского писателя, также издававшего ранние произведения под именем Джон Квилл (John Quill). Автор сборников юмористических рассказов «Out of the Hurly Burly» (1874 г.), «Elbow Poom», «Random shots», «Fortunat Island» (1881 г.), «Captain Bluit», «Transformations» (1898 г.) и др. Литературную карьеру начинал репортером, театральным и музыкальным критиком, затем стал редактором и владельцем нескольких газет, освещающих региональную текстильную промышленность Филадельфии. Живо интересовался экономикой, входил в совет директоров компании Johnson & Johnson, благодаря удачным вложениям нажил значительное состояние.

Первый сборник невероятно абсурдных юмористических рассказов «Out of the Hurly Burly Or, Life in an Odd Corner», изданный в США и Великобритании, пользовался огромной популярностью, выдержал несколько переизданий, однако сейчас практически забыт. Популярность этого и других изданий Макса Аделера умножали иллюстрации Артура Фроста (Arthur Burdett Frost, 1851–1928), которые были, в сущности, первыми комиксами.

Популярность юмориста Макса Аделера соперничала с популярностью Марка Твена, которого Кларк-Аделер неоднократно обвинял в плагиате. Кларку не нравилась репутация писателя-юмориста, периодически он оставлял писательство, но затем возвращался к нему.

Образец гротескного, абсурдного юмора Макса Аделера представлен в единственном переведенном для «Сибирской жизни» фрагменте главы XV «История епископа Поттса – Бедствия от излишнего объединения – Как страдал Поттс, и каков был его конец» (A story of Bishop Potts – The miseries of too much consolidation – How Potts suffered, and what his end was) из его первой книги «Out of the Hurly Burly». Рассказ описывает злоключения епископа-мормона Поттса (примечательно, что сам Кларк был сыном священника), оказавшегося супругом множества жен. Перевод под псевдонимом Иван Брут осуществил Феликс Вадимович Волховский (1846–1914), русский поэт, публицист, революционер-народник, журналист и томский театральный критик (подробнее о работе Волховского в сибирских газетах см.: Горенинцев В.Н. Английская и американская

литература на страницах томской дореволюционной периодики: критика, переводы, театр. Антология библиографических материалов и переводов. Томск: Издательство Томского университета, 2010; Жиликова Н.В. Журналистика города Томска (XIX – начало XX века): становление и развитие. Томск: Издательство Томского университета, 2011).

Библиография

Из американского юмориста «Макса Аделера» (Чарльза Гебера Кларка). Перевод с английского для «Сиб. Жизни». Заключение епископа Поттса // Сибирская жизнь. – 1902. – № 246. – С. 2.

Bishop Potts

Bishop Potts, of Salt Lake City, was the husband of three wives and the father of fifteen interesting children. Early in the winter the bishop determined that his little ones should have a good time on Christmas, so he concluded to take a trip down to San Francisco to see what he could find in the shape of toys with which to gratify and amuse them. The good bishop packed his carpetbag, embraced Mrs. Potts one by one and kissed each of her affectionately, and started upon his journey.

He was gone a little more than a week, when he came back with fifteen brass trumpets in his valise for his darlings. He got out of the train at Salt Lake, thinking how joyous it would be at home on Christmas morning when the fifteen trumpets should be in operation upon different tunes at the same moment. But just as he entered the depot he saw a group of women standing in the ladies' room apparently waiting for him. As soon as he approached, the whole twenty of them rushed up, threw their arms about his neck and kissed him, exclaiming:

"Oh, Theodore, we are so, so glad you have come back! Welcome home! Welcome, dear Theodore, to the bosom of your family!" and then the entire score of them fell upon his neck and cried over his shirt front and mussed him.

The bishop seemed surprised and embarrassed. Struggling to disengage himself, he blushed and said:

Заключения¹ епископа Поттса

Епископ Поттс в Салт-Лэк Сити² был супругом трех жен и отцом пятнадцати интересных ребят. В начале зимы он остановился на мысли, что нужно малют[кам] доставить настоящий праздник о Рождестве. Поэтому он решил съездить в Сан-Франциско и посмотреть, что можно там приобрести из игрушек. Итак, добрый епископ уложил свой дорожный мешок, обнял и нежно поцеловал поочередно каждую из трех своих миссис Поттс и отправился.

Немногим более чем через неделю он возвратился с пятнадцатью медными свистульками для своих ангельчиков, тщательно упакованными в дорожном чемодане. Выходя в Салт-Лэк из вагона, он думал о том, что за радость будет о Рождестве, когда поутру все пятнадцать свистулек зазвучат одновременно, каждая наигрывая свой собственный мотив! Едва он вышел в станционное здание, как заметил в дамской комнате группу женщин, по-видимому, ожидавших его. Не успел он дойти до них, как все двадцать кинулись вперед, повисли у него на шее и стали его целовать, восклицая: «О, Теодор, мы так рады, так рады, что ты возвратился! Вот ты и дома, милый Теодор. Сюда, к груди твоей семьи, милый, дорогой!» – и затем все эти двадцать женщин стали снова его обнимать, тормошить и ронять слезы радости на его манишку.

¹ Так в газете. Очевидно, должно быть *ЗаклЮчения*.

² *Salt-Lake-City* (т.е. город Соленого озера) в штате Ута – главный город мормонов, секты, практикующей многоженство. Во главе секты стоит «пророк», имеющий «ведения» и «полномочия свыше», сообразно которым он и действует. Брайм Понч, упоминаемый в рассказе, был таким пророком (Примеч. СЖ).

"Really, ladies, this kind of thing is well enough—it is interesting and all that; but there must be some kind of a — that is, an awkward sort of a—excuse me, ladies, but there seems to be, as it were, a slight misunderstanding about the—I am Bishop Potts."

"We know it, we know it, dear," they exclaimed, in chorus, 'and we are glad to see you safe at home. We have all been very well while you were away, love."

"It gratifies me," remarked the bishop, 'to learn that none of you have been a prey to disease. I am filled with serenity when I contemplate the fact; but really, I do not understand why you should rush into this railway station and hug me because your livers are active and your digestion good. The precedent is bad; it is dangerous!"

"Oh, but we didn't!" they exclaimed, in chorus. 'We came here to welcome you because you are our husband."

"Pardon me, but there must be some little—that is to say, as it were, I should think not. Women, you have mistaken your man!"

"Oh no they shouted; we were married to you while you were away!"

"What exclaimed the bishop, you don't mean to say that — "

"Yes, love. Our husband, William Brown, died on Monday, and on Thursday, Brigham had a vision in which he was directed to seal us to you; and so he performed the ceremony at once by proxy."

"Th-th-th-th-under!" observed the bishop.

"And we are all living with you now—we and the dear children."

"Children! children!" exclaimed Bishop Potts, turning pale; you don't mean to say that there is a pack of children, too?"

"Yes, love, but only one hundred and twenty-five, not counting the eight twins and the triplet."

"Wha-wha-wha-what d'you say?" gasped the bishop, in a cold perspiration; 'one hundred and twenty-five! One hundred and twenty-five children and twenty more wives! It is too much—it is awful!" and the bishop sat down and groaned, while the late Mrs. Brown, the bride, stood around in a semicircle and fanned him with her bonnets, all except the red-haired one, and she in her trepidation made a futile effort to fan him with the coal-scuttle.

"But after a while the bishop became reconciled to his new alliance, knowing well that protests would be unavailing, so he walked home, holding several of the little hands of the bride, while the red-haired woman carried his umbrella and marched in front of the parade to remove obstructions and to scare off small boys.

Епископ был озадачен; он почувствовал себя в затруднении. Он старался освободиться; он покраснел и, наконец, сказал:

«Сударыни, все это очень хорошо... все это чрезвычайно интересно и все такое; но видите ли, тут должно быть некоторое, как бы сказать... то есть совершенно неловкое в некотором роде... Извините меня, сударыни, но тут, по-видимому, если можно так выразиться, небольшое недоразумение относительно... Словом я – епископ Поттс».

«Мы это знаем, мы это знаем, милый, – воскликнули дамы хором, – и мы так рады твоему благополучному возвращению. Мы все были совершенно здоровы в твое отсутствие, голубчик!»

«Мне приятно слышать, – заметил епископ, – что никто из вас не сделался жертвою болезни. Дух мой проясняется от созерцания сего факта; но, истинно говорю вам, не могу я постигнуть, чего вам было бежать на эту станцию и обступать, и ласкать меня, потому только, что печень в вас действует надлежаще и пища благопотребне переваривается. Это дурной, это опасный прецедент!»

«Но ничего такого нет! – воскликнули дамы хором. – Мы пришли сюда встретить тебя, потому что ты наш супруг!»

«Извините меня, но тут должна быть некоторая... то есть, я хочу сказать... Словом, – вовсе нет! Женщины, вы ошибаетесь в вашем мужчине!»

«О, нет! – закричали они. – Мы обвенчаны с тобой, пока ты был в отсутствии!»

«Что такое?! – воскликнул епископ. – Вы хотите сказать, что...»

«Да, милый, да! Наш муж Вильям Браун умер в понедельник, а в четверг Брайаму было видение, чтобы он положил на нас твою печать. Он и совершил обряд немедленно, по полномочию».

«Гром и молния!» – проговорил епископ.

«И вот мы теперь все живем с тобой, – и мы, и милые малютки».

«Ма-лют-ки! – возопил епископ Поттс, побледнев. – Вы хотите, в самом деле, сказать, что кроме вас есть еще куча ребят?»

«Да, милый, да. Но их всего сто двадцать пять, не считая восьми двоен и одной тройни».

«Ч..ч..ч...то ввы г..г..ово..рите! – пробормотал епископ, заикаясь и обливаясь холодным потом. – Сто двадцать пять! Сто двадцать пять ребят и двадцать жен в придачу к прежним! Нет, это слишком... это ужасно!»

Епископ опустил на скамью и простонал, тогда как все наличные миссис Браун, обступив его полукругом, его, обмахивали его,

"When the bishop reached the house, he went around among the cradles which filled the back parlor and the two second-story rooms, and attempted with such earnestness to become acquainted with his new sons and daughters that he set the whole one hundred and twenty-five and the twins to crying, while his own original fifteen stood around and swelled the volume of sound. Then the bishop went out and sat on the garden fence to whittle a stick and solemnly think, while Mrs. Potts distributed herself around and soothed the children. It occurred to the bishop while he mused, out there on the fence, that he had not enough trumpets to go around among the children as the family now stood; and so, rather than seem to be partial, he determined to go back to San Francisco for one hundred and forty-four more.

So the bishop repacked his carpet-bag, and began again to bid farewell to his family. He tenderly kissed all of the Mrs. Potts who were at home, and started for the depot, while Mrs. Potts stood at the various windows and waved her handkerchiefs at him—all except the woman with the warm hair, and she, in a fit of absent-mindedness, held one of the twins by the leg and brandished it at Potts as he fled down the street toward the railway station.

The bishop reached San Francisco, completed his purchases, and was just about to get on the train with his one hundred and forty-four trumpets, when a telegram was handed him. It contained information to the effect that the auburn-haired Mrs. Potts had just had a daughter. This induced the bishop to return to the city for the purpose of purchasing an additional trumpet.

On the following Saturday he returned home. As he approached his house a swarm of young children flew out of the front gate and ran toward him, shouting, "There's pa! Here comes pa! Oh, pa, but we're glad to see you! Hurrah for pa!" etc., etc.

The bishop looked at the children as they flocked around him and clung to his legs and coat, and was astonished to perceive that they were neither his nor the late Brown's. He said, "You youngsters have made a mistake; I am not your father;" and the bishop smiled good-naturedly.

"Oh yes, you are, though!" screamed the little ones, in chorus.

"But I say I am not," said the bishop, severely, and frowning; you ought to be ashamed of yourselves. Don't you know where little storytellers go? It is scandalous for you to violate the truth in this manner. My name is Potts."

как веером, своими шляпами и чепчиками, – кроме, впрочем, рыжей миссис Браун, которая, в своем волнении, делала бесплодные попытки прохладить нового супруга, помахивая ящиком для каменного угля.

В конце концов, епископ, однако, примирился со своею судьбою, зная, что протесты были бы бесполезны. И так он пошел домой, держа в своих руках несколько вновь приобретенных супружеских ручек, тогда как рыжая миссис Поттс шла впереди процессии с его зонтиком в руках, готовая расчищать путь и спугивать уличных мальчишек.

Придя домой, епископ стал пробираться между колыбельками и кроватками, наполнявшими заднюю комнату нижнего этажа и весь второй этаж, и с таким тщанием старался ознакомиться со своими вновь приобретенными сыновьями и дочерьми, что как все сто двадцать пять одиночек, так и двойни ударились в плач; первоначальные же пятнадцать его собственных потомков стояли вокруг и старались сделать концерт еще более грандиозным. Тогда епископ вышел из дому, сел на садовый забор, отдаваясь печально-торжественным мыслям. В то же время собирательная миссис Поттс рассыпалась по дому и стала успокаивать детей. И вот, пока епископ размышлял, сидя на заборе, ему пришло в голову, что теперь у него недостаточно свистулек для ребят. Итак, не желая казаться пристрастным, он решил лучше снова съездить в Сан-Франциско и купить сто сорок четыре дудки вдобавок к прежним.

Епископ еще раз уложил свой дорожный мешок и принялся прощаться со своей семьей. Он нежно перецеловал всех миссис Поттс, какие случились дома, и отправился на станцию, тогда как его супруги стояли у окон и махали платками, – кроме, впрочем, рыжей женщины, которая, в припадке рассеянности, держала за ногу одного из близнецов и помахивала им на прощание, пока епископ улепетывал по направлению к железной дороге.

Епископ благополучно добрался до С.-Франциско, приобрел нужные сто сорок четыре свистульки и уже готов был сесть на поезд, когда ему подали телеграмму. Телеграмма содержала известие, что русая миссис Поттс только что разрешилась от бремени дочерью. Это заставило епископа возвратиться в город, чтобы прикупить лишнюю дудку.

В следующую субботу он воротился домой. Едва он стал подходить к дому, как ватага ребятишек вылетела из калитки и устремилась к нему, крича: «Вот и папка! Идет папка! Папа, мы так рады тебе! Кричите папе ура: уррра!...»

"Yes, we know it is," exclaimed the children—"we know it is, and so is ours; that is our name now, too, since the wedding."

"Since what wedding?" demanded the bishop, turning pale.

"Why, ma's wedding, of course. She was married yesterday to you by Mr. Young, and we are all living at your house now with our new little brothers and sisters."

The bishop sat down on the nearest front-door step and wiped away a tear. Then he asked, "Who was your father?"

"Mr. Simpson," said the crowd, "and he died on Tuesday."

"And how many of his infernal old widows—I mean how many of your mother — are there?"

"Only twenty-seven," replied the children, "and there are only sixty four of us, and we are awful glad you have come home."

The bishop did not seem to be unusually glad; somehow, he failed to share the enthusiasm of the occasion. There appeared to be, in a certain sense, too much sameness about these surprises; so he sat there with his hat pulled over his eyes and considered the situation. Finally, seeing there was no help for it, he went up to the house, and forty-eight of Mrs. Potts rushed up to him and told him how the prophet had another vision, in which he was commanded to seal Simpson's widow to Potts.

Then the bishop stumbled around among the cradles to his writing-desk. He felt among the gum rings and rattles for his letter-paper, and then he addressed a note to Brigham, asking him as a personal favor to keep awake until after Christmas. "The man must take me for a founding hospital," he said. Then the bishop saw clearly enough that if he gave presents to the other children, and not to the late Simpson's, the bride would make things warm for him. So he started again for San Francisco for sixty-four more trumpets, while Mrs. Potts gradually took leave of him in the entry — all but the red-haired woman, who was up stairs, and who had to be satisfied with screeching good-bye at the top of her voice.

On his way home, after his last visit to San Francisco, the bishop sat in the car by the side of a man who had left Salt Lake the day before. The stranger was communicative. In the course of the conversation he remarked to the bishop:

"That was a mighty pretty little affair up there at the city on Monday."

"What affair?" asked Potts.

"Why, that wedding; McGrath's widow, you know — married by proxy."

Епископ поглядел на детей и удивился: это были не его дети и не покойника Брауна. Поэтому он заметил с добродушной улыбкой: «Нет, мелкота, вы ошиблись; я вам не отец».

«Да, да, вы нам отец!» – взвизгнули ребята хором.

«Говорю вам, что нет, – сказал епископ строго и нахмурился. – Стыдитесь! Разве вы не знаете, что бывает на том свете маленьким лгунишкам? Это суший срам – так исказить истину, как вы ее искажаете. Меня зовут Поттс».

«Мы знаем, мы знаем, – закричали дети. – Мы знаем, что вас так зовут, и нас тоже. Нас точно так же зовут со дня свадьбы».

«Какой свадьбы?» – спросил почтенный Поттс, бледнея.

«Маминой свадьбы, какой еще!? Вчера мистер Йонг повенчал ее с вами и теперь мы все живем в вашем доме с нашими новыми братьями и сестрицами».

Епископ сел на ближайшую ступеньку крыльца и вытер слезу. Затем он спросил:

«Кто был ваш отец?»

«Мистер Симпсон, – закричала толпа ребятишек. – Он умер во вторник».

«Сколько же этих чертовок... То есть, я хотел сказать: сколько там ваших матерей?»

«Всего двадцать семь, – отвечали дети. – Нас же только шестьдесят четыре, и мы так рады, что вы приехали».

Что касается епископа, то он не выказал особой радости; почему – Бог знает, но он не разделял того энтузиазма, который проявлен был по этому случаю с другой стороны. По-видимому, сюрпризы эти были, в известном смысле, чересчур похожи друг на друга. Итак, он сидел, надивинув на глаза шляпу, и обдумывал свое положение. В конце концов, видя, что избежать судьбы невозможно, он направился в дом и тут-то сорок восемь миссис Поттс высыпали к нему и сообщили о том, как пророку было новое видение, повелевшее ему привязать вдов Симпсона брачными узами к Поттсу.

Натываясь ежесекундно на колыбели, епископ пробрался к своему письменному столу. Разыскав ощупью свою бумагу между резиновыми колечками для упражнения младенческих десен и погремушками для их увеселения, он написал Брайаму письмо, в котором просил его, в виде личного одолжения, воздержаться от видений хоть до после Рождества. «Он рассматривает меня как своего рода воспитательный дом», – думал при этом Поттс. Затем епископ сообра-

"You don't say?" replied the bishop. "I didn't know McGrath was dead."

"Yes; died on Sunday, and that night Brigham had a vision in which he was ordered to seal her to the bishop."

"Bishop!" exclaimed Potts. "Bishop! What bishop?"

"Well, you see, there were fifteen of Mrs. McGrath and eighty-two children, and they shoved the whole lot off on old Potts. Perhaps you don't know him?"

The bishop gave a wild shriek and writhed upon the floor as if he had a fit. When he recovered, he leaped from the train and walked back to San Francisco. He afterward took the first steamer for Peru, where he entered a monastery and became a celibate.

His carpet-bag was sent on to his family. It contained the balance of the trumpets. On Christmas morning they were distributed, and in less than an hour the entire two hundred and eight children were sick from sucking the brass upon them. A doctor was called, and he seemed so much interested in the family that Brigham divorced the whole concern from old Potts and annexed it to the doctor, who immediately lost his reason, and would have butchered the entire family if the red-haired woman and the oldest boy had not marched him off to a lunatic asylum where he spent his time trying to arrive at an estimate of the number of his children by ciphering with an impossible combination of the multiplication table and algebra.

Adeler M. Bishop Potts // Out of the Hurly-Burly Or Life in an Odd Corner : By "Max Adeler" (Charles Heber Clark). – Philada [Philadelphia], 1874. – P. 123–128.

зил, что если он сделает подарки всем детям, кроме [детей] покойного Симпсона, то последняя его собирательная молодая даст ему себя знать. Итак, он в третий раз отправился в С.-Франциско для приобретения добавочных шестидесяти четырех свистулек. Собирательная миссис Поттс толпилась у выхода и постепенно прощалась с ним; только рыжая разновидность ее, будучи в верхнем этаже, принуждена была удовольствоваться тем, что прокричала оттуда свой напутственный привет, насколько хватило у нее голоса.

На обратном пути из С.-Франциско епископу пришлось сидеть рядом с господином, который только накануне покинул Салт-Лэк. Это был очень разговорчивый господин. В течение разговора он заметил:

«Ну и шутка же это была, я вам скажу, в прошлый понедельник».

«Какая шутка?» – спросил Поттс.

«Да свадьба эта. Вдова Мак-Грааса – знаете? – обвенчана по умолчанию».

«Не-ет! – заметил епископ. – Я не знал, что Мак-Граас помер».

«Как же. Помер в воскресенье, и в ту же ночь было Брайаму видение, чтобы он передал многочисленную миссис Мак-Граас в жены епископу».

«Епископу! Что? Какому епископу?» – вскричал Поттс.

«А, видите ли, – она была сама – пятнадцать миссис Мак-Граас; да детей восемьдесят две штуки. Ну, вот всю эту кучу и сбыви на шею старика Поттса. Да вы не знакомы ли с ним?»

Епископ дико вскрикнул, упал на пол и извивался в корчах, точно с ним был припадок. Когда же он опять оправился, он неожиданно выпрыгнул из вагона и добрался до С.-Франциско пешком. Затем он взял билет на первый пароход, отправлявшийся в Перу. Там он поступил в монастырь и дал обет безбрачия.

Епископский дорожный мешок был доставлен его семейству. Он оказался полон свистулек. Поутру, в день рождества, их роздали ребятишкам и не более как через час все двести два ребенка почувствовали тошноту от отравления латуной: дудочки были из желтой меди. Послали за доктором и последний выказал столько интереса к необыкновенному семейству, что Брайам Йонг совершил развод между епископом Поттсом и его сборной семьей и соединил последнюю, оптом, брачными узами с доктором. Доктор, однако, немедленно сошел с ума и, несомненно, перерезал и перебил бы всех членов семейства, если бы рыжая разновидность его жены вместе со старшим мальчиком не препроводили его в сумасшедший дом; там он с тех пор и проводит время в бесплодных попытках определить число своих детей путем невозможной комбинации таблицы умножения с алгебраическими выкладками.

Ив. Брут

Перевод опубликован в «Сибирской жизни», 1902, № 246 (16 марта). С. 2



Артур Конан Дойл
(Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, 1859–1930)

Сэр Артур Игнейшус Конан Дойл (Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, 1859–1930) – английский писатель, врач по образованию, автор многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и юмористических произведений. Создатель классических персонажей детективной, научно-фантастической и историко-приключенческой литературы: гениального сыщика Шерлока Холмса, эксцентричного профессора Челленджера, бравого кавалерийского офицера Жерара.

Критика

В оценке Конан Дойла томские критики намеренно уходят от шаблонного представления о нем как создателе Шерлока Холмса. Видя одной из своих задач борьбу с засильем массовой «сыщицкой» литературы рубежа XIX–XX вв., рецензенты делают акцент на многочисленных морских, охотничьих и военных рассказах писателя, подчеркивая их художественно-эстетические достоинства. Так, в 1909 г. в передовице «Сибирских отголосков», посвященной 50-летию юбилею писателя, автор публикации прежде всего стремится показать многогранность творческой личности английского писателя, ранее известного лишь по детективным рассказам о Шерлоке Холмсе. Соглашаясь с тем, что и в жанре детектива Конан Дойл остается непревзойденным, критик обращает внимание на другие его малоизвестные в России тексты, отмечая серию исторических романов и повестей писателя, в которых тот проявился как великолепный колорист и мастер психологического портрета. Рассказывая о малоизвестных произведениях хорошо знакомого писателя, критик следует литературной традиции, пытаясь убедить читателя отказаться от низкопробной литературы (Шерлок Холмс сопровождается в статье эпитетом «пресловутый») и обратить внимание на те произведения писателя, которые могли иметь эстетическую, образовательную и воспитательную ценность.

Таким образом, благодаря критическим публикациям, томский читатель имел возможность не только расширить горизонт своих познаний, но и избежать однобокости и стереотипности оценок представителей новейшей английской литературы.

Переводы

Рассказ Конан Дойла «Дьявол из бондарной мастерской» («The Fiend of the Cooperage», 1897 г.), перевод которого был опубликован в «Сибирском вестнике» в 1899 г. под названием «Заколдованный остров», сочетает атрибуты, присущие произведениям английских неоромантиков: захватывающий сюжет развивается вокруг таинственного и непонятного происшествия, которое затем находит вполне естественное объяснение. Перевод, напечатанный в «Сибирском вестнике», является наиболее ранним из известных на настоящий момент. Единственной уступкой вкусам потенциальных читателей новеллы в провинциальной газете можно считать перевод названия: вынося прилагательное «заколдованный» в значимую позицию в тексте, переводчик, вероятно, рассчитывал, что, вкупе с именем знаменитого создателя Шерлока Холмса, это привлечет большую аудиторию. В целом переводчик, подписавшийся криптонимом «П.», постарался сохранить все особенности авторского стиля, передающие экзотический колорит далекого острова: рассказ изобилует морскими терминами, географическими названиями, названиями растений и животных, что наряду с ощущением необычности ситуации создает впечатление ее реальности.

Публикации

1. Конан Дойл, А. Загадочный остров (пер. с англ.) // Сибирский вестник. – 1899. – № 97, 8 апр. – С. 2; № 98, 10 апр. – С. 2.

2. По поводу 50-летнего юбилея Артура Конан Дойла // Сибирские отголоски. – 1909. – № 117. – 5 сент. – С. 1.

The Fiend of the Cooperage (1897)

It was no easy matter to bring the Gamecock up to the island, for the river had swept down so much silt that the banks extended for many miles out into the Atlantic. The coast was hardly to be seen when the first white curl of the breakers warned us of our danger, and from there onwards we made our way very carefully under mainsail and jib, keeping the broken water well to the left, as is indicated on the chart. More than once her bottom touched the sand (we were drawing something under six feet at the time), but we had always way enough and luck enough to carry us through. Finally, the water shoaled, very rapidly, but they had sent a canoe from the factory, and the Krooboy pilot brought us within two hundred yards of the island. Here we dropped our anchor, for the gestures of the negro indicated that we could not hope to get any farther. The blue of the sea had changed to the brown of the river, and, even under the shelter of the island, the current was singing and swirling round our bows. The stream appeared to be in spate, for it was over the roots of the palm trees, and everywhere upon its muddy, greasy surface we could see logs of wood and debris of all sorts which had been carried down by the flood.

When I had assured myself that we swung securely at our moorings, I thought it best to begin watering at once, for the place looked as if it reeked with fever. The heavy river, the muddy, shining banks, the bright poisonous green of the jungle, the moist steam in the air, they were all so many danger signals to one who could read them. I sent the long-boat off, therefore, with two large hogsheads, which should be sufficient to last us until we made St. Paul de Loanda. For my own part I took the dinghy and rowed for the island, for I could see the Union Jack fluttering above the palms to mark the position of Armitage and Wilson's trading station.

When I had cleared the grove, I could see the place, a long, low, whitewashed building, with a deep verandah in front, and an immense pile of palm oil barrels heaped upon either flank of it. A row of surf boats and canoes lay along the beach, and a single small jetty projected into the river. Two men in white suits with red cummerbunds round their waists were waiting upon the end of it to receive me. One was a large portly fellow with a greyish beard. The other was slender and tall, with a pale pinched face, which was half concealed by a great mushroom-shaped hat.

Заколдованный остров

Нелегко было подвести «Гэмкук» к берегу, так как вода нанесла так много ила, что берега реки выдвинулись на несколько миль в море. Лишь только мы несколько подходили к берегу, как шум прибоя предупреждал нас об опасности. Мы должны были подвигаться вперед с тысячью предосторожностей, пользуясь лишь гротом и фоком и внимательно следя за линией прибоя. Несколько раз мы задевали килем за дно (яхта сидела менее шести футов), но для нас все-таки было довольно места и шансов для прохождения вперед. Наконец глубина стала быстро увеличиваться. Из крепости нам послали навстречу лодку, чтобы привести нас поближе к острову.

Не доходя двухсот метров к берегу, мы вынуждены были бросить якорь, так как негр знаком показал нам, что ближе подойти невозможно.

Когда я убедился, что мы крепко держались на наших якорях, то решил без проволоочки запастись водой, так как окружающая местность, казалось, так и дышала лихорадкой. Огромная река, илистые и блестящие на солнце берега, смертоносная зелень джунглей, насыщенный парами воздух – все это говорило об опасности каждому, кто только ее понимал. Я послал поэтому на берег лодку с двумя бочонками для воды, которой нам должно было хватить, пока мы не приедем в Сен-Поль де Лоэнда.

Что касается меня лично, то я сел в челнок и поплыл к острову, так как заметил там над вершинами пальм развевавшийся английский флаг, который указывал помещение конторы торгового дома Эрмитаж и Вильсон.

Обогнув купу деревьев, я заметил и самую контору – длинное побеленное здание с просторной верандой и длинным рядом бочек с пальмовым маслом. У берега стояла целая флотилия барок и лодок и виднелась маленькая пристань. На ней стояли два человека, одетые в белое и подпоясанные красными кушаками. Один из этих людей, поджидавших меня, был высокий плотный мужчина с начинающей седеТЬ бородою, другой – длинный и тонкий, был с бледным и болезненным лицом, которое наполовину пряталось под широкой шапкою в форме гриба.

– Рад вас видеть, – встретил меня сердечно последний. – Мое имя Вокер, я представитель дома Эрмитаж и Вильсон. Позвольте

"Very glad to see you," said the latter, cordially. "I am Walker, the agent of Armitage and Wilson. Let me introduce Dr. Severall of the same company. It is not often we see a private yacht in these parts."

"She's the Gamecock," I explained. "I'm owner and captain—Meldrum is the name."

"Exploring?" he asked.

"I'm a lepidopterist – a butterfly-catcher. I've been doing the west coast from Senegal downwards."

"Good sport?" asked the Doctor, turning a slow yellow-shot eye upon me.

"I have forty cases full. We came in here to water, and also to see what you have in my line."

These introductions and explanations had filled up the time whilst my two Krooboys were making the dinghy fast. Then I walked down the jetty with one of my new acquaintances upon either side, each plying me with questions, for they had seen no white man for months.

"What do we do?" said the Doctor, when I had begun asking questions in my turn. "Our business keeps us pretty busy, and in our leisure time we talk politics."

"Yes, by the special mercy of Providence Severall is a rank Radical, and I am a good stiff Unionist, and we talk Home Rule for two solid hours every evening."

"And drink quinine cocktails," said the Doctor. "We're both pretty well salted now, but our normal temperature was about 103 last year. I shouldn't, as an impartial adviser, recommend you to stay here very long unless you are collecting bacilli as well as butterflies. The mouth of the Ogowai River will never develop into a health resort."

There is nothing finer than the way in which these outlying pickets of civilisation distil a grim humour out of their desolate situation, and turn not only a bold, but a laughing face upon the chances which their lives may bring. Everywhere from Sierra Leone downwards I had found the same reeking swamps, the same isolated fever-racked communities and the same bad jokes. There is something approaching to the divine in that power of man to rise above his conditions and to use his mind for the purpose of mocking at the miseries of his body.

"Dinner will be ready in about half an hour, Captain Meldrum," said the Doctor. "Walker has gone in to see about it; he's the housekeeper this week. Meanwhile, if you like, we'll stroll round and I'll show you the sights of the island."

мне представить вам доктора Севераля этой же компании. Нам так редко удается видеть частную яхту в этой местности.

– Это «Гэмкук», – ответил я. – Я владелец его и вместе с тем и капитан. Мое имя – Мельдрэм.

– Вы занимаетесь исследованиями? – спросил он.

– Я лепидоптерист, т.е. охотник за бабочками. Я обошел весь западный берег, начиная с Сенегала.

– Удачно охотились? – продолжал спрашивать доктор, медленно повернув ко мне желтоватые глаза.

Во время этого представления и объяснения мы привязали лодку. Я пошел по направлению к дому в сопровождении обоих спутников, которые не переставали забрасывать меня вопросами, так как прошло уже несколько месяцев, как они не видели ни одного белого.

– Что мы делаем? – промолвил доктор, когда в свою очередь я начал задавать им вопросы. – Дела у нас довольно, а в минуты отдыха мы беседуем о политике.

– Да, благодаря особой милости провидения, Севераль – заядлый радикал, между тем как я – убежденный добрый унионист. Вследствие этого мы каждый вечер битых два часа спорим о самоуправлении.

– И потягиваем при этом хинную настойку, – прибавил доктор. – Так что в настоящее время мы пропитаны достаточно, если принять во внимание температуру, которая доходила здесь в прошлом году до 103 градусов.

– Как человек беспристрастный, я не советовал бы вам засиживаться здесь, если только вы не собираете и бактерий, подобно бабочкам. Устье Оговаи никогда не приобретет славу санатория.

Не было ничего прекраснее, как та веселость, с которой эти передовые пионеры цивилизации переносили разные невзгоды жизни. Повсюду, начиная с Сьерра-Леоне, я встречал подобные отравленные болота, но и подобных людей, заброшенных в уединении и мучимых лихорадкою, с той же болезненной шутливостью. И мне всегда казалась чем-то приближающим к божеству эта способность людей подыматься выше положения и вышучивать материальные невзгоды.

– Обед будет готов приблизительно через полчаса, – сказал доктор. – Вокер пошел наблюдать за ним. В эту неделю его очередь заведовать кухней. Мы можем поэтому в это время пройти, и я вам покажу остров.

Солнце уже спустилось за верхушки пальм, и небесный свод, распростертый над нашими головами, походил на внутренность

The sun had already sunk beneath the line of palm trees, and the great arch of the heaven above our head was like the inside of a huge shell, shimmering with dainty pinks and delicate iridescence. No one who has not lived in a land where the weight and heat of a napkin become intolerable upon the knees can imagine the blessed relief which the coolness of evening brings along with it. In this sweeter and purer air the Doctor and I walked round the little island, he pointing out the stores, and explaining the routine of his work.

"There's a certain romance about the place," said he, in answer to some remark of mine about the dullness of their lives. "We are living here just upon the edge of the great unknown. Up there," he continued, pointing to the north-east, "Du Chaillu penetrated, and found the home of the gorilla. That is the Gaboon country – the land of the great apes. In this direction," pointing to the south-east, "no one has been very far. The land which is drained by this river is practically unknown to Europeans. Every log which is carried past us by the current has come from an undiscovered country. I've often wished that I was a better botanist when I have seen the singular orchids and curious-looking plants which have been cast up on the eastern end of the island."

The place which the Doctor indicated was a sloping brown beach, freely littered with the flotsam of the stream. At each end was a curved point, like a little natural breakwater, so that a small shallow bay was left between. This was full of floating vegetation, with a single huge splintered tree lying stranded in the middle of it, the current rippling against its high black side.

"These are all from up country," said the Doctor. "They get caught in our little bay, and then when some extra freshet comes they are washed out again and carried out to sea."

"What is the tree?" I asked.

"Oh, some kind of teak, I should imagine, but pretty rotten by the look of it. We get all sorts of big hardwood trees floating past here, to say nothing of the palms. Just come in here, will you?"

He led the way into a long building with an immense quantity of barrel staves and iron hoops littered about in it.

"This is our cooperage," said he. "We have the staves sent out in bundles, and we put them together ourselves. Now, you don't see anything particularly sinister about this building, do you?"

I looked round at the high corrugated iron roof, the white wooden walls, and the earthen floor. In one corner lay a mattress and a blanket.

громадной раковины, блещущей нежным пурпуром и легкой лазурью. Никто, кто только не жил в этой стране, где, благодаря жаре, тяжесть салфетки на коленях становится невыносимой, не может представить себе, какое благословенное облегчение приносит здесь с собою вечерняя прохлада. Вдыхая чистый освежающий воздух, мы пошли с доктором кругом острова. Он мне показывал магазины и объяснял ход работ.

– В этом краю мало романтического, – промолвил он в ответ на мои замечания относительно отсутствия веселья в их жизни. – Мы живем здесь словно на границе бесконечного. С этой стороны, – продолжал он, указывая на северо-запад, – Дю Шалью проник в глубь страны и открыл местопребывание горилл. Это – Габон, страна больших обезьян. В ту сторону, – он показал юго-запад, – никто еще не заходил далеко. Местность, омываемая этой рекою, совершенно неизвестна европейцам. Каждый кусок дерева, который течение приносит сюда, приплывает из страны, еще не исследованной. Мне часто хотелось быть лучшим ботаником при виде особенных орхидей и растений странного вида, выбрасываемых водою вот сюда, на берег.

Местность, на которую указывал доктор, был залив с темной водой, он весь был наполнен плавучими растениями, а среди них выделялся громадный ствол дерева, темную кору которого облизывали волны.

– Все это приплывает из глубины и останавливается в заливе, пока вода не придет и унесет их в море.

– Что это за дерево? – спросил я, указывая на странный ствол дерева.

– Полагаю, это вид тэка, но по внешнему виду сильно источенный червями. У нас здесь есть все виды твердого дерева, не говоря уже о пальмах. Не пойти ли нам теперь домой?

Он повел меня в длинную постройку, наполненную массою клепок и обручей.

– Здесь наша бочарня. Клепки нам присылают в ящиках, и мы сами собираем бочки. А теперь, не замечаете ли вы чего-нибудь особенного и загадочного в этом здании?

– Я не вижу ничего особенного.

– А между тем здесь происходит нечто необыкновенное. Вы видите эту кровать? Ну так я намерен провести здесь эту ночь. Я не хочу хвататься, но думаю, что здесь можно испытать крепость нервов.

– Почему?

– О! потому, что здесь происходит что-то необыкновенное. Вы говорите о монотонности нашей жизни, но я вас уверяю, что иной

"I see nothing very alarming," said I.

"And yet there's something out of the common, too," he remarked. "You see that bed? Well, I intend to sleep there to-night. I don't want to buck, but I think it's a bit of a test for nerve."

"Why?"

"Oh, there have been some funny goings on. You were talking about the monotony of our lives, but I assure you that they are sometimes quite as exciting as we wish them to be. You'd better come back to the house now, for after sundown we begin to get the fever-fog up from the marshes. There, you can see it coming across the river."

I looked and saw long tentacles of white vapour writhing out from among the thick green underwood and crawling at us over the broad swirling surface of the brown river. At the same time the air turned suddenly dank and cold.

"There's the dinner gong," said the Doctor. "If this matter interests you I'll tell you about it afterwards."

It did interest me very much, for there was something earnest and subdued in his manner as he stood in the empty cooperage, which appealed very forcibly to my imagination. He was a big, bluff, hearty man, this Doctor, and yet I had detected a curious expression in his eyes as he glanced about him – an expression which I would not describe as one of fear, but rather of a man who is alert and on his guard.

"By the way," said I, as we returned to the house, "you have shown me the huts of a good many of your native assistants, but I have not seen any of the natives themselves."

"They sleep in the hulk over yonder," the Doctor answered, pointing over to one of the banks.

"Indeed. I should not have thought in that case that they would need the huts."

"Oh, they used the huts until quite recently. We've put them on the hulk until they recover their confidence a little. They were all half mad with fright, so we let them go, and nobody sleeps on the island except Walker and myself."

"What frightened them?" I asked.

"Well, that brings us back to the same story. I suppose Walker has no objection to your hearing all about it. I don't know why we should make any secret about it, though it is certainly a pretty bad business."

He made no further allusion to it during the excellent dinner which had been prepared in my honour. It appeared that no sooner had the little

раз она полна слишком больших волнений. Однако теперь лучше пойти в комнату, так как после захода солнца лихорадочный туман подымается с болот. Смотрите, он уже стелется над рекою!

Над водою в самом деле тянулись длинные полосы белого пара. Воздух стал сырым и холодным.

– А вот и гонг зовет к обеду, – прибавил доктор. – Если вам интересно, я вам расскажу все после.

Слова доктора меня заинтересовали. Во всей фигуре доктора в пустом сарае были заметны серьезность и какое-то беспокойство, которое поразило меня. Это был человек сильный, смелый, мужественный, а между тем в глазах его, когда они останавливались на мне, я замечал выражение, которое затрудняюсь описать, – не то страха, не то тревоги, как у человека, держащегося к чему-то наготове.

– Кстати! – сказал я, направляясь домой. – Вы мне показали хижины ваших черных работников, но их самих я не видел ни одного.

– Они спят на понтоне на там берегу.

– Да? Так зачем же им тогда хижины?

– О! они жили в них до последнего времени. Но мы их переместили на понтон, чтобы они немного пришли в себя. Они наполовину сошли с ума от страха, так что мы вынуждены были их отпустить. На острове, кроме меня и Вокера, никто больше не ночует.

– Что же их так испугало, – спросил я.

– Ваш вопрос приводит к той же истории. Думаю, что Вокер ничего не будет иметь против, если вам я расскажу ее. К тому же я не вижу причины держать ее в секрете, хотя, действительно, это весьма печальная история.

Во все время великолепного обеда, приготовленного в честь мою, он больше не проронил ни слова об этой истории. Нам прислуживал черный слуга из Сьерра-Леоне. Я хотел уже, было, заметить, что, по крайней мере, этот один еще не сбежал вместе с остальными, как он, поставив десерт и вино на стол, поднес руку к своему тюрбану.

– Я нужен еще, господин Вокер? – спросил он.

– Нет, все хорошо, Мусса! – ответил хозяин. – Но я чувствую себя не совсем хорошо и потому желал бы, чтобы ты остался на острове.

На лице черного слуги отразилась борьба между страхом и долгом. Кожа его окрасилась в синевато-багровый оттенок, заменяющий у негров бледность, и он начал боязливо озираться.

– Нет! Нет! Господин Вокер! – вскричал он, наконец. – Вы лучше сами идите со мною на понтон. Там я за вами буду лучше ухаживать.

white topsail of the Gamecock shown round Cape Lopez than these kind fellows had begun to prepare their famous pepper-pot – which is the pungent stew peculiar to the West Coast—and to boil their yams and sweet potatoes. We sat down to as good a native dinner as one could wish, served by a smart Sierra Leone waiting boy. I was just remarking to myself that he at least had not shared in the general fright when, having laid the dessert and wine upon the table, he raised his hand to his turban.

"Anything else I do, Massa Walker?" he asked.

"No, I think that is all right, Moussa," my host answered. "I am not feeling very well to-night, though, and I should much prefer if you would stay on the island."

I saw a struggle between his fears and his duty upon the swarthy face of the African. His skin had turned of that livid purplish tint which stands for pallor in a negro, and his eyes looked furtively about him.

"No, no, Massa Walker," he cried, at last, "you better come to the hulk with me, sah. Look after you much better in the hulk, sah!"

"That won't do, Moussa. White men don't run away from the posts where they are placed."

Again I saw the passionate struggle in the negro's face, and again his fears prevailed.

"No use, Massa Walker, sah!" he cried. "S'elp me, I can't do it. If it was yesterday or if it was to-morrow, but this is the third night, sah, an' it's more than I can face."

Walker shrugged his shoulders.

"Off with you then!" said he. "When the mail-boat comes you can get back to Sierra Leone, for I'll have no servant who deserts me when I need him most. I suppose this is all mystery to you, or has the Doctor told you, Captain Meldrum?"

"I showed Captain Meldrum the cooperage, but I did not tell him anything," said Dr. Severall. "You're looking bad, Walker," he added, glancing at his companion. "You have a strong touch coming on you."

"Yes, I've had the shivers all day, and now my head is like a cannon-ball. I took ten grains of quinine, and my ears are singing like a kettle. But I want to sleep with you in the cooperage to-night."

"No, no, my dear chap. I won't hear of such a thing. You must get to bed at once, and I am sure Meldrum will excuse you. I shall sleep in the cooperage, and I promise you that I'll be round with your medicine before breakfast."

– Это невозможно, Мусса! Белые не убегают с тех постов, где их поставили.

Я снова увидел на лице негра прежнюю борьбу чувств, и он снова начал испускать крики ужаса.

– Нет! Нет! Господин Вокер! – повторял он. – Простите. Я не могу. Если бы это было вчера или завтра!.. Но сегодня как раз третья ночь. Господин, я не могу вынести!

Вокер пожал плечами.

– Будь по-твоему! Ступай. Но когда почтовое судно придет, ты возвратишься в Сьерра-Леоне, так как мне не нужны слуги, которые покидают меня, когда я больше всего в них нуждаюсь. Я предполагаю, что вам все это кажется странным, – прибавил он, обращаясь ко мне, – если только доктор не рассказал уже вам об этом.

– Я показал сарай капитану Мельдрэму, но еще ему ни о чем не говорил, – ответил доктор Севераль. – Вам, кажется, нездоровится, Вокер, – прибавил он, смотря на своего товарища. – С вами припадок.

– Да! Меня трясло весь день, и теперь голова у меня словно пушечное ядро. Я принял десять гран хинина, так что в ушах у меня звенит, как в котле. Но я все так же проведу эту ночь в сарае.

– Нет! Нет, мой старый друг! Вы ляжете сейчас, и капитан Мельдрэм вас извинит. Я сам буду ночевать в сарае и обещаюсь перед завтраком принести вам лекарство.

Было очевидно, что на Вокера напал приступ лихорадки, являющейся настоящей язвой здешних мест. Бледные щеки его покрылись румянцем. Глаза блестели лихорадочно. Усевшись снова, он запел острым голосом, свойственным горячке.

– Идите, идите!

– Мы вас уложим, старый дружище! – сказал доктор. С моей помощью он повел больного в его спальню. Здесь мы его раздели, и он, приняв огромную дозу снотворного средства, погрузился в глубокий сон.

– С него довольно на всю ночь! – сказал доктор, когда мы возвратились на прежнее место и снова наполнили наши стаканы. – Мы поступаем так по очереди, но сегодня мне было бы весьма досадно, если б приступ напал на меня, так как я должен выяснить тайну. Я уже вам сказал, что намерен ночевать эту ночь в сарае?

– Говоря – ночевать, я вовсе не хотел сказать – спать, потому что я вовсе не думаю спать. У нас здесь такая паника, что никто из туземцев не соглашается после заката солнца оставаться на острове, и мне в эту ночь необходимо расследовать, что за причина этого

It was evident that Walker had been struck by one of those sudden and violent attacks of remittent fever which are the curse of the West Coast. His sallow cheeks were flushed and his eyes shining with fever, and suddenly as he sat there he began to croon out a song in the high-pitched voice of delirium.

"Come, come, we must get you to bed, old chap," said the Doctor, and with my aid he led his friend into his bedroom. There we undressed him and presently, after taking a strong sedative, he settled down into a deep slumber.

"He's right for the night," said the Doctor, as we sat down and filled our glasses once more. "Sometimes it is my turn and sometimes his, but, fortunately, we have never been down together. I should have been sorry to be out of it to-night, for I have a little mystery to unravel. I told you that I intended to sleep in the cooperage."

"Yes, you said so."

"When I said sleep I meant watch, for there will be no sleep for me. We've had such a scare here that no native will stay after sundown, and I mean to find out to-night what the cause of it all may be. It has always been the custom for a native watchman to sleep in the cooperage, to prevent the barrel hoops being stolen. Well, six days ago the fellow who slept there disappeared, and we have never seen a trace of him since. It was certainly singular, for no canoe had been taken, and these waters are too full of crocodiles for any man to swim to shore. What became of the fellow, or how he could have left the island is a complete mystery. Walker and I were merely surprised, but the blacks were badly scared and queer Voodoo tales began to get about amongst them. But the real stampede broke out three nights ago, when the new watchman in the cooperage also disappeared."

"What became of him?" I asked.

"Well, we not only don't know, but we can't even give a guess which would fit the facts. The niggers swear there is a fiend in the cooperage who claims a man every third night. They wouldn't stay in the island—nothing could persuade them. Even Moussa, who is a faithful boy enough, would, as you have seen, leave his master in a fever rather than remain for the night. If we are to continue to run this place we must reassure our niggers, and I don't know any better way of doing it than by putting in a night there myself. This is the third night, you see, so I suppose the thing is due, whatever it may be."

страха. У нас всегда был обычай ставить караульного в сарае, для предупреждения кражи обручей. И вот, шесть дней тому назад, человек, который был туда поставлен на ночь, исчез и мы не нашли даже никаких следов его. Этот случай явился, действительно, чем-то необыкновенным, так как все лодки оказались налицо, переправляться же вплавь через реку никто не решится, так как она кишит крокодилами. Что случилось с этим человеком? Как он исчез с острова – это для нас осталось загадкой.

Меня и Вокера этот случай только удивил, но негры пришли в ужас и между нами начали циркулировать странные истории. Однако настоящая паника началась только три дня тому назад, когда новый караульный исчез, в свою очередь, из сарая.

– Что же с ним случилось? – спросил я.

– Мы не только ничего не знаем об этом, но и не можем даже придумать какое-либо объяснение. Негры клянутся, что в сарае живет демон, который через каждые три дня похищает по человеку. Они не желали дольше оставаться на острове и не слушали никаких убеждений. Даже Мусса, несмотря на всю его преданность, предпочел, как вы сами видели, покинуть своего больного господина, чем провести ночь здесь. Таким образом, для того, чтобы остаться при конторе, нам нужно, прежде всего, разубедить негров, и я не вижу лучшего средства, как самому провести ночь в сарае. Сегодняшняя ночь как раз по счету третья, и я должен провести ее в сарае, что бы ни случилось.

– Нет ли у вас каких либо указаний? – спросил я. – Не заметили ли вы следов борьбы, отпечатка ног и пятен крови, чего-нибудь такого, что могло хотя бы дать идею об опасности, которой вы хотите подвергнуться?

– Решительно ничего. Человек исчез – и больше ничего.

– В последний раз караульным был старый Али, который служил с основания дома. На него можно было положиться, как на скалу, и только что-нибудь необычайное могло заставить его уклониться от долга.

– Хорошо! – ответил я. – Но мне не думается, чтобы то, о чем вы говорите, было делом одного человека. Ваш друг находится теперь под действием лекарства, и в случае нужды вы рискуете остаться без помощи. Позвольте поэтому мне провести эту ночь с вами в сарае.

– С вашей стороны, Мельдрэм, это благородно, – вымолвил доктор, пожимая горячо мою руку. – Я бы никогда не осмелился предложить вам это, так как вы здесь случайный гость, но если вы желаете...

"Have you no clue?" I asked. "Was there no mark of violence, no blood-stain, no foot-prints, nothing to give you a hint as to what kind of danger you may have to meet?"

"Absolutely nothing. The man was gone and that was all. Last time it was old Ali, who has been wharf-tender here since the place was started. He was always as steady as a rock, and nothing but foul play would take him from his work."

"Well," said I, "I really don't think that this is a one-man job. Your friend is full of laudanum, and come what might he can be of no assistance to you. You must let me stay and put in a night with you at the coo-perage."

"Well, now, that's very good of you, Meldrum," said he heartily, shaking my hand across the table. "It's not a thing that I should have ventured to propose, for it is asking a good deal of a casual visitor, but if you really mean it – "

"Certainly I mean it. If you will excuse me a moment, I will hail the Gamecock and let them know that they need not expect me."

As we came back from the other end of the little jetty we were both struck by the appearance of the night. A huge blue-black pile of clouds had built itself up upon the landward side, and the wind came from it in little hot pants, which beat upon our faces like the draught from a blast furnace. Under the jetty the river was swirling and hissing, tossing little white spurts of spray over the planking.

"Confound it!" said Doctor Sevrall. "We are likely to have a flood on the top of all our troubles. That rise in the river means heavy rain up-country, and when it once begins you never know how far it will go. We've had the island nearly covered before now. Well, we'll just go and see that Walker is comfortable, and then if you like we'll settle down in our quarters."

The sick man was sunk in a profound slumber, and we left him with some crushed limes in a glass beside him in case he should awake with the thirst of fever upon him. Then we made our way through the unnatural gloom thrown by that menacing cloud. The river had risen so high that the little bay which I have described at the end of the island had become almost obliterated through the submerging of its flanking peninsula. The great raft of driftwood, with the huge black tree in the middle, was swaying up and down in the swollen current.

"That's one good thing a flood will do for us," said the Doctor. "It carries away all the vegetable stuff which is brought down on to the east

– Конечно, желаю! Позвольте только на минуту съездить на «Гэмкук» и предупредить, чтобы меня не ждали.

Когда мы возвращались с береговой насыпи, нас поразила темнота ночи. Громадная туча черно-синего цвета надвигалась со стороны берега. Горячий порывистый ветер обдавал наши лица жаром горнила. Река вздымалась и кипела, выбрасывая на доски пристани клочки белесоватой пены.

– Тысяча чертей! – вскричал доктор Севераль. – В довершение всех наших прелестей у нас будет еще наводнение. Прибыль воды в реке показывает, что где-то в верховьях её выпал сильный дождь, и сказать трудно, когда она перестанет прибывать. Мы уже однажды видели весь остров затопленным. Пойдем теперь посмотрим, все ли приготовлено, как следует, для Вокера, а потом отправимся на наш бивак.

Больной лежал в глубоком сне. Мы поставили около него стакан воды на случай, если он проснется и захочет пить, и затем пошли среди сверхъестественного мрака в наш сарай. Вода в реке поднялась уже до того, что маленькая бухта заметно изменила свою форму; замыкавшие ее выступы берега были уже почти залиты водою. Собравшиеся в ней обломки деревьев с огромным стволом посредине, подымались и опускались в водоворот течения.

– Вот, наводнение, кстати, принесет нам пользу, – заметил доктор. – Вода унесет все эти растения, что собрались в бухте. Но вот и наш бивак, вот несколько книг и ящик с табаком. Попробуем провести эту ночь получше.

При свете небольшого фонаря сарай казался весьма мрачным. За исключением бочек и обручей, в нем был только еще постланный в углу матрац доктора. Мы устроили из клепок себе два стула, стол и приготовились бодрствовать. Севераль принес для меня револьвер, а сам вооружился двустволкой. Мы зарядили наше оружие и положили его так, чтобы оно было под рукою. Маленький круг света и огромный свод из мрака наводили такую меланхолию, что Севераль вернулся в контору и захватил с собою две свечи. Одна стена сарая была прорезана несколькими отверстиями для окон, но они не были вставлены, и потому мы должны были устроить для наших свеч защиту от ветра из досок.

Доктор, который, казалось, обладал стальными нервами, взялся за книгу, но я заметил, что он поминутно опускал ее на колени и внимательно осматривал все кругом. Со своей стороны, попробовав раза два почить, я тоже должен был признаться, что я был не в со-

end of the island. It came down with the freshet the other day, and here it will stay until a flood sweeps it out into the main stream. Well, here's our room, and here are some books and here is my tobacco pouch, and we must try and put in the night as best we may."

By the light of our single lantern the great lonely room looked very gaunt and dreary. Save for the piles of staves and heaps of hoops there was absolutely nothing in it, with the exception of the mattress for the Doctor, which had been laid in the corner. We made a couple of seats and a table out of the staves, and settled down together for a long vigil. Severall had brought a revolver for me and was himself armed with a double-barrelled shot-gun. We loaded our weapons and laid them cocked within reach of our hands. The little circle of light and the black shadows arching over us were so melancholy that he went off to the house, and returned with two candles. One side of the cooperage was pierced, however, by several open windows, and it was only by screening our lights behind staves that we could prevent them from being extinguished.

The Doctor, who appeared to be a man of iron nerves, had settled down to a book, but I observed that every now and then he laid it upon his knee, and took an earnest look all round him. For my part, although I tried once or twice to read, I found it impossible to concentrate my thoughts upon the book. They would always wander back to this great empty silent room, and to the sinister mystery which overshadowed it. I racked my brains for some possible theory which would explain the disappearance of these two men. There was the black fact that they were gone, and not the least tittle of evidence as to why or whither. And here we were waiting in the same place – waiting without an idea as to what we were waiting for. I was right in saying that it was not a one-man job. It was trying enough as it was, but no force upon earth would have kept me there without a comrade.

What an endless, tedious night it was! Outside we heard the lapping and gurgling of the great river, and the souging of the rising wind. Within, save for our breathing, the turning of the Doctor's pages, and the high, shrill ping of an occasional mosquito, there was a heavy silence. Once my heart sprang into my mouth as Severall's book suddenly fell to the ground and he sprang to his feet with his eyes on one of the windows.

"Did you see anything, Meldrum?"

"No. Did you?"

"Well, I had a vague sense of movement outside that window." He caught up his gun and approached it. "No, there's nothing to be seen, and yet I could have sworn that something passed slowly across it."

стоянии сосредоточиться на моей книжке. Мои мысли блуждали в огромной пустоте сарая и в зловещей таинственности, которая окружала его. Мой мозг положительно мучился от усилий найти какую-нибудь теорию для объяснения таинственного исчезновения двух людей. Был только один грубый факт, что эти люди исчезли, но как и при каких обстоятельствах – это оставалось неизвестным, и мы оба сидели теперь на этом и ждали, не имея при этом ни малейшего представления о том, чего мы ждем. Мне казалось, что я был прав, предположив, что это не было делом одного человека. В таком виде дело представлялось мне несколько понятным, но никакая сила не удержала бы меня здесь на месте, если б около меня не было товарища.

Какая бесконечная и утомительная ночь! Снаружи до нас доносились шум и клочкотание реки и завывания ветра, который все усиливался. Внутри сарая, кроме нашего дыхания, легкого шелеста, производимого доктором при перелистывании книги, и изредка тихого жужжания комара, – тяжелая, глубокая тишина. Вдруг сердце дрогнуло у меня в груди. Книжка выскользнула из рук Северала на пол, а сам он вскочил со своего места с глазами, устремленными на одно из окон.

– Вы заметили что-нибудь, Мельдрэм?

– Нет! А вы?

– Я? Да, мне показалось, как будто что-то проскользнуло мимо окна.

Он схватил ружье и подошел к окну.

– Нет! – сказал он, – ничего не видно, а между тем я готов поклясться, что видел как что-то медленно прошло за окном.

– Может быть, лист пальмы, – заметил я, – так как ветер усиливается все более и более.

– Без сомнения! – ответил он и взял снова книгу, но он не переставал наблюдать за окном короткими подозрительными взглядами.

Вдруг буря, которая словно сорвалась с цепи, дала новое направление нашим мыслям. Блеснула ослепительная молния, а вслед за тем раздался громовой удар, потрясший всю постройку. Беспрерывно белые вспышки молнии прорезали мрак и гремели страшные раскаты, подобно выстрелам из громадных орудий. Затем полил и застучал о железную крышу крупный тропический дождь. Из мрака снаружи слышалась теперь целая смесь из звуков, там как будто все и кипело, и брызгало, истекало, и капало, – словно целый хаос из звуков, производимых жидкостью, а к всему этому примешивался глухой рев реки... Шум и гул все усиливались...

"A palm leaf, perhaps," said I, for the wind was growing stronger every instant.

"Very likely," said he, and settled down to his book again, but his eyes were for ever darting little suspicious glances up at the window. I watched it also, but all was quiet outside.

And then suddenly our thoughts were turned into a new direction by the bursting of the storm. A blinding flash was followed by a clap which shook the building. Again and again came the vivid white glare with thunder at the same instant, like the flash and roar of a monstrous piece of artillery. And then down came the tropical rain, crashing and rattling on the corrugated iron roofing of the cooperage. The big hollow room boomed like a drum. From the darkness arose a strange mixture of noises, a gurgling, splashing, tinkling, bubbling, washing, dripping – every liquid sound that nature can produce from the thrashing and swishing of the rain to the deep steady boom of the river. Hour after hour the uproar grew louder and more sustained.

"My word," said Severall, "we are going to have the father of all the floods this time. Well, here's the dawn coming at last and that is a blessing. We've about exploded the third night superstition anyhow."

A grey light was stealing through the room, and there was the day upon us in an instant. The rain had eased off, but the coffee-coloured river was roaring past like a waterfall. Its power made me fear for the anchor of the Gamecock.

"I must get aboard," said I. "If she drags she'll never be able to beat up the river again."

"The island is as good as a breakwater," the Doctor answered. "I can give you a cup of coffee if you will come up to the house."

I was chilled and miserable, so the suggestion was a welcome one. We left the ill-omened cooperage with its mystery still unsolved, and we splashed our way up to the house.

"There's the spirit lamp," said Severall. "If you would just put a light to it, I will see how Walker feels this morning."

He left me, but was back in an instant with a dreadful face.

"He's gone!" he cried hoarsely.

The words sent a thrill of horror through me. I stood with the lamp in my hand, glaring at him.

"Yes, he's gone!" he repeated. "Come and look!"

I followed him without a word, and the first thing that I saw as I entered the bedroom was Walker himself lying huddled on his bed in the

– Честное слово! Нам грозит на этот раз самое страшное наводнение! Но вот, наконец, благословенный рассвет! Что бы ни было, мы покончили с суеверным страхом третьей ночи.

Рассвет в самом деле проглядывал в окна.

День должен был сейчас начаться. Дождь перестал, но побуревшая река волновалась и ревела, как водопад. Я начал опасаться за якоря «Гэмкука».

– Мне нужно отправиться на яхту, – сказал я. – А то в случае, если ее сорвет с якорей, ей уже больше не удастся войти в реку.

– Ее защищает от напора течения остров, – ответил доктор. – Если хотите, пойдемте лучше пить кофе.

Я до такой степени чувствовал себя усталым и обессиленным, что с удовольствием принял любезное приглашение. Мы покинули приобретший дурную славу сарай, так и не выяснив его тайны, и побрели в контору.

– Вот спиртовая лампа, – сказал Севераль. – Зажгите ее, пожалуйста, а я пойду пока посмотрю, как чувствует себя Вокер.

Он вышел, но через минуту вернулся с лицом, искаженным ужасом.

– Он мертв! – вскричал он хриплым голосом.

При этих словах по мне прошла дрожь ужаса. Я так и замер с лампой в руке, не спуская глаз с Севераля.

– Да! Он мертв! Посмотрите!

Я последовал за ним, не говоря ни слова.

На пороге комнаты я был поражен видом Вокера, распростертого на кровати в том же сером фланелевом белье, которое я вечером помог ему надеть.

Доктор казался сильно потрясенным. Руки его дрожали, как листья при ветре.

– Он умер уже несколько часов тому назад.

– Неужели от лихорадки? – спросил я.

– От лихорадки? Посмотрите на его ногу!

В самом деле, нога его была совершенно не на месте и как-то ужасно вывернута.

– Великий Боже! Кто же мог сделать это?

Севераль приложил голову к груди трупа.

– Пощупайте! – прошептал он.

Я положил руку на указанное место и не почувствовал никакой упругости. Тело было совершенно мягко, как будто я пожал резиновую куклу.

grey flannel sleeping suit in which I had helped to dress him on the night before.

"Not dead, surely!" I gasped.

The Doctor was terribly agitated. His hands were shaking like leaves in the wind.

"He's been dead some hours."

"Was it fever?"

"Fever! Look at his foot!"

I glanced down and a cry of horror burst from my lips. One foot was not merely dislocated, but was turned completely round in a most grotesque contortion.

"Good God!" I cried. "What can have done this?"

Severall had laid his hand upon the dead man's chest.

"Feel here," he whispered.

I placed my hand at the same spot. There was no resistance. The body was absolutely soft and limp. It was like pressing a sawdust doll.

"The breast-bone is gone," said Severall in the same awed whisper. "He's broken to bits. Thank God that he had the laudanum. You can see by his face that he died in his sleep."

"But who can have done this?"

"I've had about as much as I can stand," said the Doctor, wiping his forehead. "I don't know that I'm a greater coward than my neighbors, but this gets beyond me. If you're going out to the Gamecock—"

"Come on!" said I, and off we started. If we did not run it was because each of us wished to keep up the last shadow of his self-respect before the other. It was dangerous in a light canoe on that swollen river, but we never paused to give the matter a thought. He bailing and I paddling we kept her above water, and gained the deck of the yacht. There, with two hundred yards of water between us and this cursed island we felt that we were our own men once more.

"We'll go back in an hour or so," said he. "But we need a little time to steady ourselves. I wouldn't have had the niggers see me as I was just now for a year's salary."

"I've told the steward to prepare breakfast. Then we shall go back," said I. "But in God's name, Doctor Severall, what do you make of it all?"

"It beats me – beats me clean. I've heard of Voodoo deviltry, and I've laughed at it with the others. But that poor old Walker, a decent, God-fearing, nineteenth-century, Primrose-League Englishman should go under like this without a whole bone in his body – it's given me a shake, I

– Костного остова груди нет вовсе, – заметил Севераль тем же сдавленным голосом. – Он измельчен в крошки. Слава Богу, он хотя бы погиб во сне.

– Но кто же это мог сделать?

– Здесь кроется что-то, чего я не могу понять и вынести, – ответил Севераль, покачивая головою. – Я не знаю, трусливее ли я других, но это выше моих сил. Если вы отправляетесь на яхту...

– Пойдемте! – сказал я ему.

И мы отправились. Если мы не бежали, так только потому, что каждый из нас хотел показать друг перед другом хоть тень хладнокровия. Было опасно пускаться в путь на легком челноке по взволнованной реке, но мы об этом даже не подумали. С большим усилием мы достигли яхты и очутились, наконец, среди людей.

– На землю мы сойдем теперь часа через два. Я ни за что не согласился бы, чтобы негры меня увидели таким, каким я выглядел минуту тому назад.

Я распорядился приготовить завтрак.

– Потом мы сойдем на берег. Но, Бога ради, доктор, что вы думаете обо всем этом?

– Это превосходит мое понимание! Я слышал, как говорили о чертовщине, о каких-то злых духах, и смеялся над этим вместе с другими. Но бедный Вокер! Чтобы человек XIX века, верующий в Бога, англичанин, член лиги Примроз, погиб такой смертью, без одной целой косточки в теле – это что-то невероятное. Но, посмотрите, Мельдрэм! Этот ваш матрос или пьян или сошел сума? Что с ним?

Старик Петерсон, самый пожилой из моего экипажа, спокойный как пирамида, был поставлен на носу яхты, чтобы отталкивать шестом несшиеся по течению деревья. В эту минуту колени у него погнулись, глаза расширились, и он дико потрясал рукою.

– Посмотрите на него! Смотрите! – кричал он.

В ту же минуту и мы увидели.

Громадный ствол дерева несся по реке. Вода лизала его черную блестящую поверхность, а впереди, фута на три приблизительно, виднелась изогнутая, словно нос у корабля, ужасная голова, медленно покачивавшаяся направо и налево. Огромная, как пивной бочонок, вздутая, страшная, она была окрашена в желтый цвет. Шея была в желтых и черных пятнах. Когда она плыла мимо нас, я увидел, как из громадного дупла дерева выскользнули два огромных кольца, и страшная голова поднялась вдруг футов на десять вверх,

won't deny it. But look there, Meldrum, is that hand of yours mad or drunk, or what is it?"

Old Patterson, the oldest man of my crew, and as steady as the Pyramids, had been stationed in the bows with a boat-hook to fend off the drifting logs which came sweeping down with the current. Now he stood with crooked knees, glaring out in front of him, and one forefinger stabbing furiously at the air.

"Look at it!" he yelled. "Look at it!"

And at the same instant we saw it.

A huge black trunk was coming down the river, its broad glistening back just lapped by the water. And in front of it – about three feet in front – arching upwards like the figure-head of a ship, there hung a dreadful face, swaying slowly from side to side. It was flattened, malignant, as large as a small beer-barrel, of a faded fungoid colour, but the neck which supported it was mottled with a dull yellow and black. As it flew past the Gamecock in the swirl of the waters I saw two immense coils roll up out of some great hollow in the tree, and the villainous head rose suddenly to the height of eight or ten feet, looking with dull, skin-covered eyes at the yacht. An instant later the tree had shot past us and was plunging with its horrible passenger towards the Atlantic.

"What was it?" I cried.

"It is our fiend of the cooperage," said Dr. Severall, and he had become in an instant the same bluff, self-confident man that he had been before. "Yes, that is the devil who has been haunting our island. It is the great python of the Gaboon."

I thought of the stories which I had heard all down the coast of the monstrous constrictors of the interior, of their periodical appetite, and of the murderous effects of their deadly squeeze. Then it all took shape in my mind. There had been a freshet the week before. It had brought down this huge hollow tree with its hideous occupant. Who knows from what far distant tropical forest it may have come! It had been stranded on the little east bay of the island. The cooperage had been the nearest house. Twice with the return of its appetite it had carried off the watchman. Last night it had doubtless come again, when Severall had thought he saw something move at the window, but our lights had driven it away. It had writhed onwards and had slain poor Walker in his sleep.

"Why did it not carry him off?" I asked.

"The thunder and lightning must have scared the brute away. There's your steward, Meldrum. The sooner we have breakfast and get back to the island the better, or some of those niggers might think that we had been frightened."

Conan Doyle, A. The Fiend of the Cooperage. [Электронный ресурс] // URL: https://ebooks.adelaide.edu.au/d/doyle/arthur_conan/fiend-of-the-cooperage/ (access date: 21.02.2016).

устремив на яхту покрытые кожей глаза. Через мгновение дерево пронеслось мимо нас подобно стреле и помчалось со своим страшным пассажиром по направлению к Атлантическому океану.

– Что это такое? – вскричал я.

– Это демон нашего сарая, – сказал доктор Севераль. В одну минуту он превратился снова в того отважного самоуверенного человека, каким я знал его прежде.

– Да, это демон, который жил на нашем острове. Это большой пифон Габона.

Я вспомнил различные истории, которые слышал об этом громадном удаве, его периодической прожорливости и об ужасном действии его смертельных объятий. Тогда сразу мне стало ясно. Неделию тому назад, когда вода сильно прибыла, течение принесло к острову и это громадное дуплистое дерево с его страшным обитателем. Кто знает, из какого отдаленного тропического леса он прибыл. Дерево остановилось в бухте, а от нее ближайшим строением был сарай. Два раза при наступлении голода он похищал караульных. В минувшую ночь он так же, без сомнения, подполз к сараю именно в то время, когда Севералю показалось, что что-то протасилось мимо окна, но свет от свечей заставил его изменить путь. Он пополз дальше и измьял Вокера во время сна.

– Но почему он бросил его? – спросил я.

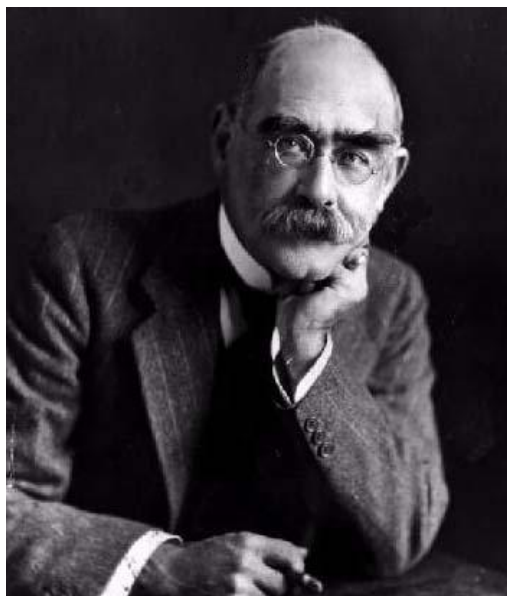
– Должно быть, гром и молния напугали чудовище. Но вот повар, Мельдрэм! Чем скорее мы позавтракаем и чем скорее сойдем на берег, тем это будет лучше, а то некоторые из негров подумают, что мы испугались.

Пер. П.

Перевод опубликован в «Сибирском вестнике», 1899, № 97 (6 мая). С. 2–3.

Литература

Горенинцева В.Н. Рецепция английской и американской литературы в томской периодике конца XIX – начала XX вв.: дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 2009. – 218 с.



Джозеф Редъярд Киплинг
(Joseph Rudyard Kipling, 1865–1936)

Джозеф Редьярд Киплинг (Joseph Rudyard Kipling, 1865–1936) – британский писатель, поэт, автор таких произведений, как «Книга джунглей» и «Ким». На родине широко известен благодаря своим стихотворениям. Новеллист произвел на викторианскую Англию сильное впечатление своими весьма необычными рассказами, сочетавшими привычный экзотический колорит Востока с непривычными образами героев – людей скромного социального статуса либо индусов, чья психология оставалась для англичан загадкой. Непривычен был и язык его рассказов: английский писатель смело использовал сказовые формы и внелитературные элементы (язык улицы, сленг, профессиональный жаргон). Киплинг первым из англичан получил Нобелевскую премию по литературе. Это случилось в 1907 году, вслед за этим университеты Торонто, Парижа, Афин и Страсбурга также проявили уважение к необыкновенному таланту Киплинга, удостоив его своих высших наград. Киплинг был обладателем почетных степеней Кембриджского, Оксфордского, Даремского и Эдинбургского университетов. Его произведения по праву считаются жемчужиной мировой классики. В России о Киплинге заговорили с начала 1890-х гг., практически одновременно с приходившей к нему популярностью на родине. Первые русские критики Киплинга, во многом основываясь в своих суждениях на мнении зарубежных исследователей, формировали русский миф о нем как о «певце экзотического Востока», писателе-демократе, продолжателе традиций Диккенса.

Критика

Первым критическим заметкам о Киплинге, появившимся в томской периодике вскоре после окончания англо-бурской войны, присущи настроения, свойственные всей дореволюционной российской киплингiane. В 1902 г. в рубрике «Библиография» появилась заметка, подписанная криптонимом «Л.С.». Томский критик, осторожно признавая Киплинга остроумным рассказчиком, обвинял его

в высокомерном отношении к туземцам как к низшей расе и подвергал сомнению достоверность описываемых Кипплингом событий, уличая английского писателя в идеализации реального положения дел в английской колонии, сотрясаемой голодовками и возмущениями местного населения. Вместе с тем в библиографической заметке 1903 г. тот же критик сменил тональность высказывания, замечая, что хотя Кипплинга и считают выразителем империалистических интересов Англии, в своих рассказах он всегда на стороне угнетаемых англичанами индийцев.

Наиболее заметной публикацией, в целом обобщающей отношение томской критики к Кипплингу, стал «портрет» писателя, вошедший в небольшой цикл литературных миниатюр П.Н. Бражникова, посвященных западноевропейским писателям, которые, по замыслу критика, наилучшим образом представляли современные национальные литературы Европы. По мнению Бражникова, Кипплинг – высокоодаренный писатель, к достоинствам которого можно причислить глубокую наблюдательность, неподдельный юмор и глубокие знания. В отличие от «Л.С.», увидевшего в рассказах Кипплинга идеализацию реальности, Бражников не подвергал сомнению достоверность экзотичных картин, созданных английским писателем, и, более того, видел в этом художественный прием: роскошь и сочность красок экзотической природы Индии нужны, чтобы показать ужасающую бедность простого народа. Вместе с тем категорическое неприятие встречает у Бражникова шовинизм Кипплинга. Талант писателя, поставленный на службу узконациональным интересам, критик противопоставлял «всечеловечному» гению Л.Н. Толстого. Так, П.Н. Бражников писал: «Талант Кипплинга остается только громадным прожектором высокой культуры, направляющим свои яркие лучи на широкое пространство. <...> Он слишком ярко светит, от него не ускользнет ни одна мелочь <...> но этот талант не греет. Он демонстрирует только несокрушимую силу Англии, холодную в своем великолепии».

Переводы

Всего в томской периодике были опубликованы переводы трех «индийских новелл» из сборника Кипплинга «Простые рассказы с гор» (Plain Tales from the Hills, 1888), в сборник вошли рассказы автора, написанные им в 1886–1887 гг. Для томской газеты «Сибирь

ский вестник» были переведены новеллы «Лиспет» (*Lispeth*, 1886), «Мухаммад Дин» (*The Life of Muhhamad Din*,) и «Самообман» (*In Egor*). В качестве переводчика выступил сибирский этнограф А. Ордынский, подписавшийся псевдонимом Х. Ныдро.

Публикации

1. Киплинг, Р. По склонам Нагорья и трущобам Калькутты (пер. с англ.) [рецензия] // Сибирская жизнь. – 1902. – № 168 (3 августа). – С. 5.

2. Киплинг, Р. Рассказы-сказки (пер. с англ.) [рецензия] // Сибирская жизнь. – 1903. – № 107 (22 мая). – С. 3. Подпись: «Л.С.»

3. [Бражников, П. Н.] Литературные портреты / П.Н. Бражников // Сибирская жизнь. – 1909. – № 26 (1 февраля). – С. 1. Подпись: П. Николаев.

4. Киплинг, Р. Лизбет (пер. с англ.) / Р. Киплинг // Сибирский вестник. – 1903. – № 197 (12 сентября). – С. 2–3. Пер. Х. Ныдро [А.К. Ордынский].

5. Киплинг, Р. Мухаммад Дин (пер. с англ.) / Р. Киплинг // Сибирский вестник. – 1903. – № 193 (30 августа). – С. 2. Пер. Х. Ныдро [А.К. Ордынский]

6. Киплинг, Р. Самообман (пер. с англ.) / Р. Киплинг // Сибирский вестник. – 1903. – № 197 (3 сентября). – С. 3. Пер. Х. Ныдро [А.К. Ордынский].

The Story of Muhammad Din (1886)

*"Who is the happy man? He that sees in his own house
at home little children crowned with dust,
leaping and falling and crying."*

Munichandra, translated by Professor Peterson

The polo-ball was an old one, scarred, chipped, and dented. It stood on the mantelpiece among the pipe-stems which Imam Din, khitmatgar, was cleaning for me.

"Does the Heaven-born want this ball?" said Imam Din, deferentially.

The Heaven-born set no particular store by it; but of what use was a polo-ball to a khitmatgar?

"By Your Honor's favour, I have a little son. He has seen this ball, and desires it to play with. I do not want it for myself."

No one would for an instant accuse portly old Imam Din of wanting to play with polo-balls. He carried out the battered thing into the verandah; and there followed a hurricane of joyful squeaks, a patter of small feet, and the thud-thud-thud of the ball rolling along the ground. Evidently the little son had been waiting outside the door to secure his treasure. But how had he managed to see that polo-ball?

Next day, coming back from office half an hour earlier than usual, I was aware of a small figure in the dining-room – a tiny, plump figure in a ridiculously inadequate shirt which came, perhaps, half-way down the tubby stomach. It wandered round the room, thumb in mouth, crooning to itself as it took stock of the pictures. Undoubtedly this was the "little son."

He had no business in my room, of course; but was so deeply absorbed in his discoveries that he never noticed me in the doorway. I stepped into the room and startled him nearly into a fit. He sat down on the ground with a gasp. His eyes opened, and his mouth followed suit. I knew what was coming, and fled, followed by a long, dry howl which reached the servants' quarters far more quickly than any command of mine had ever done. In ten seconds Imam Din was in the dining-room. Then despairing sobs arose, and I returned to find Imam Din admonishing the small sinner who was using most of his shirt as a handkerchief.

"This boy," said Imam Din, judicially, "is a budmash, a big budmash. He will, without doubt, go to the jail-khana for his behavior."

Мухаммад Дин

Не помню, откуда взялся у меня красный бильярдный шар, старый, полинялый, потрескавшийся и ни на что не пригодный. Он мирно покоился себе в углу моей спальни.

Но вот однажды Имам Дин, степенный и честный индус, совмещавший в лице своем обязанности старшего моего конюха и камердинера, прибирая в спальне и указывая метелкой на этот шар, почти-точно обратился ко мне с вопросом: «Вашей милости, вероятно, не нужна эта вещица?»

«Моей милости, – отвечал я, – она совершенно не нужна. Не понадобилась ли она на что-либо Иمامу Дину?» – добавил я, улыбуясь.

«Лично для меня нет в ней надобности, – проговорил Имам Дин конфузливо. – О нет! Но у меня есть сынишка... маленький... вот такой... Если бы ему позволили поиграть этим шаром... покатать его... это доставило бы ему несказанное удовольствие...»

– Так отдайте ему этот шар, я его дарю ему, и пускай играет им на здоровье.

Имам Дин пренизко поклонился и едва унес шар, как на веранде раздались топанье босых маленьких ножек, радостный детский смех, восклицания и – тук! тук! тук! – катание шара по деревянному полу.

Через несколько дней после этого я, возвратясь ранее обыкновенного домой от занятий в полковом штабе, заглянул в столовую и увидел в ней крошечное человеческое существо в белой коротенькой рубашке, едва прикрывавшей половину бронзового, немного вздутого, брюшка. Существо это, засунув пальчик в рот, медленно двигалось по столовой и с любопытством, совершенно не детским, осматривало мебель и картины. Я начал догадываться, что это сынишка Имама Дина, для которого он выпросил у меня бильярдный шар. Ребенок до того был погружен в созерцание, что и не заметил меня, хотя я простоял в дверях столовой несколько минут. Наконец я подошел к нему. Он вздрогнул и ахнул, устремив на меня свои большие черные глаза, исполненные и страха, и мольбы, и не переставая дрожать. Опасаясь последствий нечаянного испуга в малютке, я сделал большую глупость, – мне следовало обласкать его как-нибудь, а я быстро удалился из столовой. Вслед за мною раздался пронзительный крик. Бедняжка, вероятно, вообразил себе, что я пошел за прутом или плеткой, чтобы его наказать.

Renewed yells from the penitent, and an elaborate apology to myself from Imam Din.

"Tell the baby," said I, "that the Sahib is not angry, and take him away." Imam Din conveyed my forgiveness to the offender, who had now gathered all his shirt round his neck, string-wise, and the yell subsided into a sob. The two set off for the door. "His name," said Imam Din, as though the name were part of the crime, "is Muhammad Din, and he is a budmash." Freed from present danger, Muhammad Din turned round, in his father's arms, and said gravely: "It is true that my name is Muhammad Din, Tahib, but I am not a budmash. I am a MAN!"

From that day dated my acquaintance with Muhammad Din. Never again did he come into my dining-room, but on the neutral ground of the compound, we greeted each other with much state, though our conversation was confined to "Talaam, Tahib" from his side and "Salaam Muhammad Din" from mine. Daily on my return from office, the little white shirt, and the fat little body used to rise from the shade of the creeper-covered trellis where they had been hid; and daily I checked my horse here, that my salutation might not be slurred over or given unseemly.

Muhammad Din never had any companions. He used to trot about the compound, in and out of the castor-oil bushes, on mysterious errands of his own. One day I stumbled upon some of his handiwork far down the ground. He had half buried the polo-ball in dust, and stuck six shrivelled old marigold flowers in a circle round it. Outside that circle again, was a rude square, traced out in bits of red brick alternating with fragments of broken china; the whole bounded by a little bank of dust. The bhstie from the well-curb put in a plea for the small architect, saying that it was only the play of a baby and did not much disfigure my garden.

Heaven knows that I had no intention of touching the child's work then or later; but, that evening, a stroll through the garden brought me unawares full on it; so that I trampled, before I knew, marigold-heads, dust-bank, and fragments of broken soap-dish into confusion past all hope of mending. Next morning I came upon Muhammad Din crying softly to himself over the ruin I had wrought. Some one had cruelly told him that the Sahib was very angry with him for spoiling the garden, and had scattered his rubbish using bad language the while. Muhammad Din labored for an hour at effacing every trace of the dust-bank and pottery fragments, and it was with a tearful apologetic face that he said, "Talaam Tahib," when I came home from the office. A hasty inquiry resulted in Imam Din informing Muhammad Din that by my singular favour he was permitted to

Крик его долетел в людскую скорее, чем иногда долетал туда звук моего серебряного колокольчика или мой громкий призыв кого-либо из слуг, потому что не прошло и двух секунд, как я услышал, что в столовую вбежал Имам Дин. Я тоже поспешил туда. Имам Дин, держа ребенка за руку, по-видимому, читал ему нотацию, а тот утирал подолом коротенькой своей рубашки носик и прослезившиеся глазки.

«Мальчишка этот, – обратился ко мне Имам Дин, – смею доложить вашей милости, настоящий “будмаш”¹. Вот увидишь, негодный, что ты скоро попадешь в когти “Жайль Кхана”², и тогда ни мать, ни я не вырвут тебя из его когтей».

Угроза эта сильно подействовала на ребенка. Из глаз его полились новые слезы. Имам Дин начал просить у меня извинения, уверял, что мальчик больше не посмеет забираться без спроса в мои комнаты.

«Пусть Имам Дин скажет мальчику, что “Сагиб”³ нисколько не сердится на него и не запрещает ему посещать эти комнаты», – отозвался я.

Слова мои, переведенные Имамом Дином по-индусски, совершенно успокоили мальчика, но он все-таки чувствовал себя неловко, потому что, хотя и перестал плакать, но подтянул всю свою рубашонку к шейке и закрыл его личико. Имам Дин взял его бережно на руки и направился к двери, но остановился и, обернувшись ко мне, произнес: «Зовут его Мухаммад Дин, но это не мешает ему быть будмашем».

Но ребенок, обрадованный счастливым исходом приключения и чувству ласкового объятия отца, поднял головку с его плеча, улыбнулся мне чисто английской улыбкой и тихо произнес: «Тагиб (вместо сагиб)! Мухаммад Дин не будмаш, нет, нет, Мухаммад Дин хороший маленький человек».

Слова его были переведены отцом.

Так началось между мною и этим «хорошим маленьким человеком» знакомство и затем дружеские отношения.

Мухаммад Дин не вторгался более в мои апартаменты, но мы с ним каждый день встречались на нейтральной почве – во дворе. Каждый выезд мой из дому и возвращение домой (я ездил обычно-

¹ Бездельник, негодяй.

² Своего рода Бука, которым индусы пугают своих детей.

³ Барин, господин.

disport himself as he pleased. Whereat the child took heart and fell to tracing the ground-plan of an edifice which was to eclipse the marigold-polo-ball creation.

For some months, the chubby little eccentricity revolved in his humble orbit among the castor-oil bushes and in the dust; always fashioning magnificent palaces from stale flowers thrown away by the bearer, smooth water-worn pebbles, bits of broken glass, and feathers pulled, I fancy, from my fowls—always alone and always crooning to himself.

A gayly-spotted sea-shell was dropped one day close to the last of his little buildings; and I looked that Muhammad Din should build something more than ordinarily splendid on the strength of it. Nor was I disappointed. He meditated for the better part of an hour, and his crooning rose to a jubilant song. Then he began tracing in dust. It would certainly be a wondrous palace, this one, for it was two yards long and a yard broad in ground-plan. But the palace was never completed.

Next day there was no Muhammad Din at the head of the carriage-drive, and no "Talaam Tahib" to welcome my return. I had grown accustomed to the greeting, and its omission troubled me. Next day, Imam Din told me that the child was suffering slightly from fever and needed quinine. He got the medicine, and an English Doctor.

"They have no stamina, these brats," said the Doctor, as he left Imam Din's quarters.

A week later, though I would have given much to have avoided it, I met on the road to the Mussulman burying-ground Imam Din, accompanied by one other friend, carrying in his arms, wrapped in a white cloth, all that was left of little Muhammad Din.

Kipling R. The Story of Muhammad Din [Электронный ресурс] // URL: <http://www.readbookonline.net/readOnLine/2449/> (access date: 21.02.2016).

венно верхом) сопровождалась появлением из-за деревьев моего неогороженного сада маленького человечка в коротенькой рубашонке, едва до половины прикрывавшей его бронзовое брюшко. Вслед за этим раздавались с одной стороны «Талам, тагиб» (вместо Салаам, сагиб)¹ а с другой: «Салаам, Мухаммад Дин»².

И я всегда задерживал коня, чтобы мое приветствие было слышано малюткой.

Я заметил, что ребенок никогда не играл с другими ребятами. Он всегда один бродил по саду, бормоча под нос какую-то грустную песенку, и всегда казался серьезно чем-то занят. Раз я в саду случайно наткнулся на род его занятия.

Бильярдный шар, подаренный ему мною, он поместил на кучку песка, которую обсадил шестью засохшими ветками ноготков и окружил кусочками красного кирпича и обломками фарфоровой посуды. Все это он обнес песочным валом. Нечаянно, по рассеянности, пришлось мне разрушить это произведение. Один неосмотрительный шаг, и стенки из кусочков кирпича и фарфоровой лопы и песочный вал – все это рушилось. Мухаммад Дин принялся за исправление разрушенного. Но один из моей прислуги, нарочно или шутя, сказал ему, что его затеи производят в саду безобразие и что сагиб, сиречь я, может быть очень недоволен этим. Мухаммад Дин на другой же день занялся перетаскиванием своего строительного материала из сада во двор. После этого, встречая меня при отъезде из дома и возвращении, он все же приветствовал меня обычным «талам, тагиб», но маленькое личико его как-то отворачивалось в сторону и на этом личике не было заметно прежней искренности и признательности. Это меня озадачило. Я произвел дознание и открыл причину неудовольствия бедненького строителя. Тотчас же я попросил Имама Дина объявить сынишке, что сагиб по своей доброте и великодушию позволяет ему строить в саду что угодно и за это не будет сердиться.

Радости Мухаммада Дина не было пределов. С удвоенным рвением принялся он за свое любимое дело и в течение нескольких недель трудился как неутомимый муравей. Невозможно было сосчитать, сколько по разным уголкам сада (но в стороне от прохожих

¹ Желая здоровья господину!

² Да здравствует Мухаммад Дин!

дорожек) соорудил он минаретов, дворцов, храмов из кусочков кирпича, фарфоровой и стеклянной ломи, украшая все это увядшими цветами, сухими деревьями, веточками, и разноцветными перышками, вероятно позаимствованными у моих петушков. Работал он без отдыха, всегда одинокий, серьезный, и всегда напевая потихоньку какую-то грустную мелодию. В типе его сооружений проглядывало что-то общее типу древних индусских храмов, поражающих своей фантастичностью и грандиозностью.

Однажды я к приготовленному Мухаммадом Дином для новых сооружений материалу подбросил чрезвычайно красивую раковину и, незаметно для него, начал следить за тем, что он с нею делает. Изумленный красотой вещицы и появлением её неизвестно откуда, Мухаммад Дин долго простоял над нею в глубоком раздумии, засунув, по обыкновению, пальчик в рот, затем судорожно схватил ее и начал таскаться с нею по саду, как будто подыскивая для помещения её соответственное место. Наконец нашлось такое. Теперь он запел что-то радостное, торжествующее и тотчас принялся за работу. Он осмотрел площадку в два фута длины и в один ширины. То, что он задумал, вероятно, превзошло бы все прежние его сооружения, по своей оригинальности и великолепию... Но, увы!

На другой день, когда я после занятий прибыл домой, Имама Дина не оказалось на обычном месте, и лошадь мою принял и увел другой конюх. Не появилась также из кустов забавная фигурка маленького архитектора, редко, впрочем, появлявшегося после дозволения производить постройки в саду. Вошедши в дом, я хотел расспросить прислугу, что случилось с Имамом Дином, но он заявился сам и попросил шепотку хины, объясняя, что у его сынишки открылся сильный жар. Я дал ему хину, но тотчас послал за полковым доктором.

«Черт бы побрал этих дикарей, – пробурчал доктор, входя ко мне в кабинет после посещения избушки Имама Дина. – Кажется, мы никогда не заставим их прививать детям оспу. У вашего любимца оспа».

Прошла неделя.

Я, кажется, не пожалел бы ничего на свете, лишь бы избегнуть того, что мне пришлось встретить в первый день следующей недели по дороге при возвращении из штаба и чтобы не почувствовать того, что я испытал при этой встрече. Мой честный и степенный Имам Дин, в сопровождении одного из своих родственников, старого индуса, понуриив голову, шел по направлению к мусульманскому кладбищу и на руках нес завернутое в белую простыню все то, что осталось в здешнем мире от маленького (а может быть и гениального впоследствии) строителя Мухаммад Дина!

Перевод Х. Ныдро

Перевод опубликован в «Сибирском вестнике», 1903, № 193 (30 августа). С. 2.

Lispeth (1886)

*Look, you have cast out Love! What Gods are these
You bid me please?
The Three in One, the One in Three? Not so!
To my own Gods I go.
It may be they shall give me greater ease
Than your cold Christ and tangled Trinities.*
The Convert.

She was the daughter of Sonoo, a Hill-man, and Jadeh his wife. One year their maize failed, and two bears spent the night in their only poppy-field just above the Sutelj Valley on the Kotgarth side; so, next season, they turned Christian, and brought their baby to the Mission to be baptized. The Kotgarth Chaplain christened her Elizabeth, and “Lispeth” is the Hill or pahari pronunciation.

Later, cholera came into the Kotgarth Valley and carried off Sonoo and Jadeh, and Lispeth became half-servant, half-companion to the wife of the then Chaplain of Kotgarth. This was after the reign of the Moravian missionaries, but before Kotgarth had quite forgotten her title of “Mistress of the Northern Hills.”

Whether Christianity improved Lispeth, or whether the gods of her own people would have done as much for her under any circumstances, I do not know; but she grew very lovely. When a Hill girl grows lovely, she is worth traveling fifty miles over bad ground to look upon. Lispeth had a Greek face – one of those faces people paint so often, and see so seldom. She was of a pale, ivory color and, for her race, extremely tall. Also, she possessed eyes that were wonderful; and, had she not been dressed in the abominable print-cloths affected by Missions, you would, meeting her on the hill-side unexpectedly, have thought her the original Diana of the Romans going out to slay.

Lispeth took to Christianity readily, and did not abandon it when she reached womanhood, as do some Hill girls. Her own people hated her because she had, they said, become a memsahib and washed herself daily; and the Chaplain's wife did not know what to do with her. Somehow, one cannot ask a stately goddess, five foot ten in her shoes, to clean plates and dishes. So she played with the Chaplain's children and took classes in the

Лизбет

Она была дочь индуса Соноо и жены его Жидег.

Когда однажды им не удался сбор майса и, кроме этого, влюбленная чета медведей вытоптала целую десятину индейской конопли, посеянной ими в долине Сулей, около Котгара, они приняли христианство и передали в котгарскую миссию на воспитание свою пятинедельную девочку. Местный пастор окрестил ее именем Елизаветы, в туземном же наречии «pahari» имя это передалось на Лизбет.

Под влиянием ли христианства, по милости ли туземных богов, Лизбет вышла чрезвычайно красивой девушкой, а известно, что если индуска красива, то уже красавица в настоящем значении этого слова, на которую посмотреть каждый сочтет себе за удовольствие. Лизбет обладала чертами лица чисто греческими, которые так охотно изображаются художниками, но которые редко встречаются у нынешних женщин. Тело её было цвета слоновой кости, рост большой, чудные, ослепительные глаза, оттененные длинными ресницами, сочные коралловые губки. Кроме этого, она была отлично сложена и очень сильная. Если бы она не напяливала разные цветные материи, называемые нарядом культурных женщин, и если бы встретили ее полунагую в горах, то вы непременно приняли бы за богиню Диану, отправившуюся на охоту. Недоставало бы только этой богине лука и стрел да верных псов.

Лизбет достаточно ознакомилась с догмами христианства, хотя они с большим трудом усваивались её понятиями. Туземное население возненавидело ее, считая ее “memsahib” («барышней»), а также и за то, что она наряжалась и часто умывалась. В населении же английском она слыла под именем прелестного цветка котгарской миссии.

Когда она вышла из детского возраста, жена пастора, заведовавшая хозяйством миссии, не знала, что с нею делать: ей казалось как-то неприличным заставлять эту красавицу мыть полы и посуду и чистить кастрюли. Лизбет была приставлена к детям в пасторате, она присматривала за ними и, посещая вместе с ними школу, выучилась читать и писать. Она читала все книги, какие попадались ей в руки и, как заколдованная царевна в сказке, с каждым днем делалась красивее. Жена пастора советовала ей поступить бонною в какое-либо английское семейство, но Лизбет ни за что не хотела идти в услужение и была очень довольна настоящим положением в миссии. Когда

Sunday School, and read all the books in the house, and grew more and more beautiful, like the Princesses in fairy tales. The Chaplain's wife said that the girl ought to take service in Simla as a nurse or something "genteel." But Lispeth did not want to take service. She was very happy where she was.

When travellers – there were not many in those years – came to Kotgarh, Lispeth used to lock herself into her own room for fear they might take her away to Simla, or somewhere out into the unknown world.

One day, a few months after she was seventeen years old, Lispeth went out for a walk. She did not walk in the manner of English ladies – a mile and a half out, and a ride back again. She covered between twenty and thirty miles in her little constitutionals, all about and about, between Kotgarh and Narkunda. This time she came back at full dusk, stepping down the breakneck descent into Kotgarh with something heavy in her arms. The Chaplain's wife was dozing in the drawing-room when Lispeth came in breathing hard and very exhausted with her burden. Lispeth put it down on the sofa, and said simply:

"This is my husband. I found him on the Bagi Road. He has hurt himself. We will nurse him, and when he is well, your husband shall marry him to me."

This was the first mention Lispeth had ever made of her matrimonial views, and the Chaplain's wife shrieked with horror. However, the man on the sofa needed attention first. He was a young Englishman, and his head had been cut to the bone by something jagged. Lispeth said she had found him down the khud, so she had brought him in. He was breathing queerly and was unconscious.

He was put to bed and tended by the Chaplain, who knew something of medicine; and Lispeth waited outside the door in case she could be useful. She explained to the Chaplain that this was the man she meant to marry; and the Chaplain and his wife lectured her severely on the impropriety of her conduct. Lispeth listened quietly, and repeated her first proposition. It takes a great deal of Christianity to wipe out uncivilized Eastern instincts, such as falling in love at first sight. Lispeth, having found the man she worshipped, did not see why she should keep silent as to her choice. She had no intention of being sent away, either. She was going to nurse that Englishman until he was well enough to marry her. This was her little programme.

After a fortnight of slight fever and inflammation, the Englishman recovered coherence and thanked the Chaplain and his wife, and Lispeth –

навещали миссию какие-либо незнакомые люди, она запиралась в своей комнатке и очень боялась, чтобы ее не увезли в город или в другое место незнаемого мира.

Когда ей исполнилось 17 лет, она начала совершать прогулки; прогуливалась она не так, как это обыкновенно делают английские мисс, – полверсты вперед и полверсты обратно. Нет! Она заходила далеко от пастората, именно к горе Норкунде и даже далее.

Однажды она явилась с такой отдаленной прогулки в сумерки, нечто тяжелое притащила с собою в гостиницу и бережно опустила свою ношу на диван. Жена пастора, сладко дремавшая в креслах, проснулась.

«Что это такое?» – спросила она.

«Это мой муж, – отвечала Лизбет, ничуть не стесняясь. – Я нашла его на дороге в Багги... Мы с ним встретились там, в горах. Он упал вниз головою и ушибся чуть не до смерти. Насилю я довела его сюда. Теперь с ним сделался обморок... он потерял, кажется, сознание от потери крови. Но он не умрет, я буду ухаживать за ним, а когда он выздоровеет, господин пастор нас обвенчает».

Первый раз Лизбет заговорила о замужестве, и жена пастора была просто ошеломлена такой неожиданностью. Между тем надобно было поспешить с помощью больному. Его уложили в постель в отдельной комнате, и пастор, знакомый с медициной, сделал ему перевязку и привел кое-как в чувство. Лизбет и пастору высказала свое матримониальное намерение.

Пастор со своей супругой строго осудили неприличие её поведения; она выслушала их спокойно, но осталась при своем. Нелегко приходится христианству переделывать природные инстинкты Дальнего Востока, например – любовь мужчины или женщины с первого взгляда, с первой встречи, без колебаний, без рассуждений, без оглядки. Лизбет, встретив мужчину, который ей понравился, как еще никто не нравился, не находила необходимости таиться с овладевшим ею чувством; она не соглашалась на требования пастора и его жены держать себя подальше от больного и решила неотступно ухаживать «за своим будущим мужем», впредь до окончательного его выздоровления. Что прикажете с нею делать?.. Побились, побились с её упорством пастор и его супруга, наконец, махнули рукой. После двух недель, проведенных в горячке и бреду, незнакомец пришел в сознание.

especially Lispeth – for their kindness. He was a traveller in the East, he said – they never talked about "globe-trotters" in those days, when the P. & O. fleet was young and small – and had come from Dehra Dun to hunt for plants and butterflies among the Simla hills. No one at Simla, therefore, knew anything about him. He fancied he must have fallen over the cliff while stalking a fern on a rotten tree-trunk, and that his coolies must have stolen his baggage and fled. He thought he would go back to Simla when he was a little stronger. He desired no more mountaineering.

He made small haste to go away, and recovered his strength slowly. Lispeth objected to being advised either by the Chaplain or his wife; so the latter spoke to the Englishman, and told him how matters stood in Lispeth's heart. He laughed a good deal, and said it was very pretty and romantic, a perfect idyl of the Himalayas; but, as he was engaged to a girl at Home, he fancied that nothing would happen. Certainly he would behave with discretion. He did that. Still he found it very pleasant to talk to Lispeth, and walk with Lispeth, and say nice things to her, and call her pet names while he was getting strong enough to go away. It meant nothing at all to him, and everything in the world to Lispeth. She was very happy while the fortnight lasted, because she had found a man to love.

Being a savage by birth, she took no trouble to hide her feelings, and the Englishman was amused. When he went away, Lispeth walked with him, up the Hill as far as Narkunda, very troubled and very miserable. The Chaplain's wife, being a good Christian and disliking anything in the shape of fuss or scandal – Lispeth was beyond her management entirely – had told the Englishman to tell Lispeth that he was coming back to marry her. "She is but a child, you know, and, I fear, at heart a heathen," said the Chaplain's wife. So all the twelve miles up the hill the Englishman, with his arm around Lispeth's waist, was assuring the girl that he would come back and marry her; and Lispeth made him promise over and over again. She wept on the Narkunda Ridge till he had passed out of sight along the Muttiani path.

Then she dried her tears and went in to Kotgarth again, and said to the Chaplain's wife: "He will come back and marry me. He has gone to his own people to tell them so." And the Chaplain's wife soothed Lispeth and said: "He will come back." At the end of two months, Lispeth grew impatient, and was told that the Englishman had gone over the seas to England. She knew where England was, because she had read little geography primers; but, of course, she had no conception of the nature of the sea, being a Hill girl. There was an old puzzle-map of the World in the House.

Оказалось, что это был молодой турист-естествоиспытатель, он собирал коллекции бабочек и растений, прибыл из Дегра Доу в окрестности Сейнли, повстречался с Лизбет, но погнался за незнакомым цветком, поскользнулся с крутого утеса и чуть не разможил себе голову. Проводники его, вероятно, испугались и сбежали, забрав с собою его багаж. Но их можно будет разыскать. Он поблагодарил пастора и его жену за их доброту и гостеприимство, а Лизбет за его спасение. Не слишком он торопился возвратиться в Сейнлу, да и силы его медленно возрождались. Лизбет не слушала увещаний пастора и его жены и не отставала от больного. Это их беспокоило, но подчас и забавляла их её чисто ребяческая наивность. Они тайно предупредили молодого человека о её на него видах. Он посмеялся над этой чисто *гималайской идиллией* и объяснил, что он помолвлен уже в Англии с любимой девицей... Затем он дал честное слово пастору и его жене, что по отношению к влюбленной в него Лизбет он будет сдержан. Это не мешало ему беседовать по целым часам и шутить с нею, на её страстные речи отвечая такими же, и, наконец, делать с нею небольшие прогулки, когда силы его значительно уже восстановились. Детская доверчивость и наивность бедной индуски больше его забавляли, чем заставляли задумываться о последствиях...

Наконец англичанин совсем оправился и начал собираться в Сейнлу. Лизбет сильно опечалилась предстоящей разлукой с человеком, которого полюбила всей душой. Нужно знать, что жена пастора и сам он, очень добрые и жалостливые люди, упростили англичанина не огорчать бедную девушку объявлением, что у него имеется уже невеста.

«Лизбет до того привязалась к вам в продолжение вашей болезни, до того свыклась с мыслию, что вы будете её мужем, что это известие просто убьет ее, – говорили они англичанину. – Пускай она останется в своем роковом заблуждении, а там время мало-помалу вылечит ее от этой блажи. Уверьте ее, что вы возвратитесь и женитесь на ней. Это такой невинный ребенок, что всему поверит».

Лизбет взялась сама проводить англичанина через окрестные горные кряжи, так как местность была ей знакома, и вывести его на дорогу к Сейнле. И англичанин, следуя совету пастора и его жены, во весь путь уверял Лизбет в своей взаимности и клялся возвратиться скоро к ней. Лизбет заставила его чуть не сотню раз повторить свои уверения и обещания.

На вершине Норкунды она долго простояла, провожая глазами милого, пока он не исчез в отдалении. Возвратясь в Котгар, она

Lispeth had played with it when she was a child. She unearthed it again, and put it together of evenings, and cried to herself, and tried to imagine where her Englishman was. As she had no ideas of distance or steam-boats, her notions were somewhat erroneous. It would not have made the least difference had she been perfectly correct; for the Englishman had no intention of coming back to marry a Hill girl. He forgot all about her by the time he was butterfly-hunting in Assam. He wrote a book on the East afterwards. Lispeth's name did not appear.

At the end of three months, Lispeth made daily pilgrimage to Narkunda to see if her Englishman was coming along the road. It gave her comfort, and the Chaplain's wife, finding her happier, thought that she was getting over her "barbarous and most indelicate folly." A little later the walks ceased to help Lispeth and her temper grew very bad. The Chaplain's wife thought this a profitable time to let her know the real state of affairs – that the Englishman had only promised his love to keep her quiet – that he had never meant anything, and that it was "wrong and improper" of Lispeth to think of marriage with an Englishman, who was of a superior clay, besides being promised in marriage to a girl of his own people. Lispeth said that all this was clearly impossible, because he had said he loved her, and the Chaplain's wife had, with her own lips, asserted that the Englishman was coming back.

"How can what he and you said be untrue?" asked Lispeth.

"We said it as an excuse to keep you quiet, child," said the Chaplain's wife.

"Then you have lied to me," said Lispeth, "you and he?"

The Chaplain's wife bowed her head, and said nothing. Lispeth was silent, too for a little time; then she went out down the valley, and returned in the dress of a Hill girl – infamously dirty, but without the nose and ear rings. She had her hair braided into the long pig-tail, helped out with black thread, that Hill women wear.

"I am going back to my own people," said she. "You have killed Lispeth. There is only left old Jadeh's daughter – the daughter of a pahari and the servant of Tarka Devi. You are all liars, you English."

By the time that the Chaplain's wife had recovered from the shock of the announcement that Lispeth had 'verted to her mother's gods, the girl had gone; and she never came back.

She took to her own unclean people savagely, as if to make up the arrears of the life she had stepped out of; and, in a little time, she married a wood-cutter who beat her, after the manner of paharis, and her beauty faded soon.

отерла на глазах слезы и с полной уверенностью сказала жене пастора: «Он придет, непременно придет и женится на мне. Он только поехал уведомить об этом своих родных».

«Разумеется, приедет и женится на тебе, – отвечала жена пастора, стараясь выдать на лице своем одобрительную улыбку. – Не о чем тебе, дитя мое, печалиться».

Прошло два месяца в напрасном ожидании возвращения милого, а Лизбет начала беспокоиться. Жена пастора принялась ей объяснять, что Англия не так близко, что страна та находится за многими морями. <...> Лизбет часто играла им¹, когда была маленькая. Теперь она каждый вечер сидела над ним и не раз орошала его слезами. Она старалась отыскать ближайший путь, по которому должен следовать её милый, она не знала ничего о пароходном движении. А этот милый вовсе не думал о возвращении в Индию, а тем более о женитьбе на красивой дикарке. Он, вероятно, забыл о ней, так как в изданном им в том же году описании своего путешествия по Индии он даже не упомянул ни о приключении с ним в горах, ни о своем опасном падении с крутого утеса, ни о спасении его туземной девушкой.

По прошествии трех месяцев крайнее нетерпение овладело Лизбет. Она чуть не каждый день бегала на гору Норкунду и по возвращении становилась рассеянной, желчной, раздражительной.

Вдруг она как будто успокоилась и видимо повеселела. Причиной этой перемены было то, что ею вдруг овладела, словно по наитию, несомненная уверенность, что милый непременно приедет и что беспокоиться на счет этого вовсе не следует. Жена же пастора подумала, что Лизбет знала безумие своего увлечения, а потому нашла это время самым удобным, чтобы открыть ей глаза на горькую истину и тем окончательно возвратить ее самой себе. Войдя однажды вдвоем с нею в зал, она сперва намеком старалась ей внушить, что англичанин навряд ли женится на ней, навряд ли возвратится в Индию.

Затем объявила прямо, что у него в Англии осталась невеста, с которым он, вероятно, уже и обвенчался. Если же он не говорил ей об этом и не отвергал её ласк, то это делал из человеколюбия, не желая огорчить ту, которой обязан был своим спасением. Он же со своей стороны не мог разделить того чувства, которое, он внушал, так как у него была уже невеста.

«Он клялся мне своим богом, что любит одну меня и что непременно женится на мне, – возразила ей Лизбет. – Да ведь вы сами с достопочтенным супругом своим поддерживали меня в этой уверенности, а теперь говорите совершенно другое. Вы шутите, – добавила она, чуть не плача. – Признайтесь... вы шутите... не мучьте меня!»

¹ В тексте перевода здесь пропуск. Предположительно, имеется в виду глобус.

"There is no law whereby you can account for the vagaries of the heathen," said the Chaplain's wife, "and I believe that Lispeth was always at heart an infidel." Seeing she had been taken into the Church of England at the mature age of five weeks, this statement does not do credit to the Chaplain's wife.

Lispeth was a very old woman when she died. She always had a perfect command of English, and when she was sufficiently drunk, could sometimes be induced to tell the story of her first love-affair.

It was hard then to realize that the bleared, wrinkled creature, so like a wisp of charred rag, could ever have been "Lispeth of the Kotgarth Mission."

Kipling R. Lispeth [Электронный ресурс] // URL: <http://www.readbookonline.net/readOnLine/2478/> (access date: 21.02.2016).

«Дитя мое! Мы это делали, чтобы не огорчать тебя. Ты так была увлечена, что никакие увещания на тебя не действовали бы... – продолжала жена пастора. – Мы принуждены были потакать тебе в надежде, что ты со временем одумаешься».

Лизбет замолчала, опустив голову. Потом вдруг вскочила со стула и, устремив на жену пастора исполненный упрека и негодования взгляд, проговорила, тяжело дыша: «Выходит, что он... и вы с достопочтенным вашим супругом... бессовестно передо мною лгали... обманывали меня».

Жена пастора поникла головой и не имела ничего для ответа. Постояв с минуту, Лизбет ушла в свою комнату и через несколько минут возвратилась в зал, она там сбросила свое нарядное платье и явилась в национальном костюме своего племени, состоявшем из куса цветной бумажной материи, едва прикрывающей чудные её формы. Длинные волосы её были распущены и связаны назад в пучок черной лентой, как обыкновенно их носят туземки.

«Я возвращаюсь к своим, – произнесла она твердо и решительно жене пастора, не могшей еще оправиться от смущения. – Вы во мне убили христианку, Елизавету, осталась Лизбет – язычница, дочь старика Соноо и жены его Жадег, поклонница бога Тирка-Дэви. Прощайте!»

И прежде чем жена пастора пришла в себя от поразившей ее неожиданности и оскорбления, Лизбет убежала из Котгара и больше в нем не появлялась. Она всей душой привязалась к своему родному племени, бедному, простому и добродушному «pahagi», и этим как будто хотела загладить свое отступничество.

«Какое непостоянство у этих язычников! – заметила жена пастора, рассказывая приехавшей знакомой даме о поступке. – Я всегда подозревала в этой девочке прежнюю склонность к язычеству».

Между тем Лизбет была обращена в христианку на пятой лишь неделе после рождения, когда еще не могла иметь никакого понятия о богах, каких бы то ни было.

После побега своего из миссии Лизбет долго не думала над своей судьбой и вышла замуж за простого дровосека. Она не забывает ни английского языка, ни истории своей первой несчастной любви. Она часто рассказывает ее своим приятельницам.

Красота её после замужества начала быстро увядать и теперь, смотря на эту сморщенную, сгорбленную старушку, нельзя поверить, что эта бывшая Лизбет, которую во всей округе англичане не называли иначе, как «прелестным цветком котгарской миссии».

Х. Ныдро

Перевод опубликован в «Сибирском вестнике», 1903, № 197 (12 сентября). С. 2–3.

In Error (1887)

*They burnt a corpse upon the sand –
The light shone out afar;
It guided home the plunging boats
That beat from Zanzibar.
Spirit of Fire, where'er Thy altars rise.
Thou art Light of Guidance to our eyes!*
Salsette Boat-Song

There is hope for a man who gets publicly and riotously drunk more often than he ought to do; but there is no hope for the man who drinks secretly and alone in his own house – the man who is never seen to drink.

This is a rule; so there must be an exception to prove it. Moriarty's case was that exception.

He was a Civil Engineer, and the Government, very kindly, put him quite by himself in an out-district, with nobody but natives to talk to and a great deal of work to do. He did his work well in the four years he was utterly alone; but he picked up the vice of secret and solitary drinking, and came up out of the wilderness more old and worn and haggard than the dead-alive life had any right to make him. You know the saying that a man who has been alone in the jungle for more than a year is never quite sane all his life after. People credited Moriarty's queerness of manner and moody ways to the solitude, and said it showed how Government spoilt the futures of its best men. Moriarty had built himself the plinth of a very god reputation in the bridge-dam-girder line. But he knew, every night of the week, that he was taking steps to undermine that reputation with L. L. L. and "Christopher" and little nips of liqueurs, and filth of that kind. He had a sound constitution and a great brain, or else he would have broken down and died like a sick camel in the district, as better men have done before him.

Government ordered him to Simla after he had come out of the desert; and he went up meaning to try for a post then vacant. That season, Mrs. Reiver – perhaps you will remember her – was in the height of her power, and many men lay under her yoke. Everything bad that could be said has already been said about Mrs. Reiver, in another tale. Moriarty was heavily-built and handsome, very quiet and nervously anxious to

Самообман

Нельзя считать безвозвратно погибшим человека, который иногда на дружеском пиру напивается до положения риз. Погибшим можно считать лишь того, кто предается пороку пьянства систематически, ежедневно и усердно. Однако и здесь иногда бывают исключения. Таким исключением является инженер Мориартей.

Интересный это случай, стоит о нем рассказать.

Мориартей служил в таком месте, где работы было по уши, но не с кем было поговорить по душе. Ну и одичал человек. Трудился он, как вол, в течение четырех лет и вел жизнь совершенно уединенную.

Известно, что болотистые местности вредно действуют на здоровье человека. Один год, прожитый в такой местности, оставляет в ином организме неизгладимые следы. Многие спасаются от этого усердной выпивкой. И Мориартей пил. Но его пьянство знакомые приписывали влиянию местности и уединению, отсутствию всяких развлечений и обвинили в этом, разумеется, начальство, заставлявшее его жить среди болот. Мориартей до этого пользовался отличной репутацией вообще как человек и как знаменитый инженер. Днем он говорил отрывисто с рабочими и надсмотрщиками и только с вечера, запершись в своей келье, беседовал «по душе» с различными ликерами, коньяком, ромом и т.п. Многие на его месте давно бы свалились, но он, благодаря атлетическому сложению и крепкой голове, все еще держался молодцом. Наконец начальство вспомнило о нем и перевело в Сейнлу. В то время в бомонде Сейнлы владычествовала миссис Рейверс. – Вы может быть ее помните? Может быть, и вы принадлежали к числу ее поклонников? Это была замечательная в своем роде женщина, но все дурное, что можно было бы о ней сказать (хорошего же в ней ничего не было), я высказал в другом месте и повторять это считаю излишним. Мориартей, красивый собою, высоко образованный, всеми уважаемый, а главное, прекрасно сложенный, не мог не обратить на себя внимание такой тщеславной светской львицы, какой была миссис Рейверс.

Вскакивание со стула при малейшем толчке в бок, дрожание руки при поднесении стакана или рюмки к губам – все это у Мориартея приписывалось влиянию болотистой местности, недавно им оставленной, и расстройству нервов, но отнюдь ни чему другому. Если же в его спальне по ночам происходило некое таинственное буль-буль, то этого никто не слышал. Удивляться этому нечего; в нашем

please his neighbors when he wasn't sunk in a brown study. He started a good deal at sudden noises or if spoken to without warning; and, when you watched him drinking his glass of water at dinner, you could see the hand shake a little. But all this was put down to nervousness, and the quiet, steady, "sip-sip-sip, fill and sip-sip-sip, again," that went on in his own room when he was by himself, was never known. Which was miraculous, seeing how everything in a man's private life is public property out here.

Moriarty was drawn, not into Mrs. Reiver's set, because they were not his sort, but into the power of Mrs. Reiver, and he fell down in front of her and made a goddess of her. This was due to his coming fresh out of the jungle to a big town. He could not scale things properly or see who was what.

Because Mrs. Reiver was cold and hard, he said she was stately and dignified. Because she had no brains, and could not talk cleverly, he said she was reserved and shy. Mrs. Reiver shy! Because she was unworthy of honor or reverence from any one, he revered her from a distance and dowered her with all the virtues in the Bible and most of those in Shakespeare.

This big, dark, abstracted man who was so nervous when a pony cantered behind him, used to moon in the train of Mrs. Reiver, blushing with pleasure when she threw a word or two his way. His admiration was strictly platonic: even other women saw and admitted this. He did not move out in Simla, so he heard nothing against his idol: which was satisfactory. Mrs. Reiver took no special notice of him, beyond seeing that he was added to her list of admirers, and going for a walk with him now and then, just to show that he was her property, claimable as such. Moriarty must have done most of the talking, for Mrs. Reiver couldn't talk much to a man of his stamp; and the little she said could not have been profitable. What Moriarty believed in, as he had good reason to, was Mrs. Reiver's influence over him, and, in that belief, set himself seriously to try to do away with the vice that only he himself knew of.

His experiences while he was fighting with it must have been peculiar, but he never described them. Sometimes he would hold off from everything except water for a week. Then, on a rainy night, when no one had asked him out to dinner, and there was a big fire in his room, and everything comfortable, he would sit down and make a big night of it by adding little nip to little nip, planning big schemes of reformation meanwhile, until he threw himself on his bed hopelessly drunk. He suffered next morning.

прекраснейшем из миров так устроено, что большая часть наших действий скрывается очень легко перед глазами и ушами самых близких наших соседей.

Не прошло и двух недель, как Мориартей попал – не в число пустых поклонников миссис Рейверс – он не имел ничего общего с ними, – а как-то непостижимо предался ее очарованию и, представьте себе, начал просто боготворить эту... женщину.

Переписанный¹ внезапно из пустыни в большой, шумный город, он окончательно потерял всякую мерку вещам и людям. Холодность и бессердечность кокетки он принял за целомудрие и недоступность, ограниченность и неспособность вести серьезный разговор – за скромность и застенчивость. Он чтил миссис Рейверс как святыню, и чем менее она заслуживала уважения, тем усерднее он бил перед ней челом, приписывая ей все древние библейские и новозаветные добродетели.

Случается же иногда подобный самообман, подобное сумасшествие.

Высокий, смуглый, всегда серьезный и меланхолический мужчина, которого пугали малейшее прикосновение и малейший звук, не считал для себя опасным втереться в пустое общество поклонников львицы, бродил за нею как тень и краснел как девушка, когда она удостоивала его каким-нибудь словом. Это был обожатель вместе чувственный и платонический. Так о нем отзывались опытные люди, не слишком дружелюбно относившиеся к миссис Рейверс, хотя и завидовавшие ей втихомолку.

Мориартей, по прибытии своем в Сейнлу, держался как-то особняком, поэтому не мог многого узнать о даме своего сердца.

Миссис же Рейверс, зачисливши его в штат своих обожателей, не обращала на него внимания больше, чем на других. Правда, она приглашала его участвовать в ее *parties de plaisir*, но делала это лишь с целью похвастать своей властью над этим «отшельником», как его все называли. Мориартей умел, когда хотел, говорить красиво и занимательно, но не о том, что могло бы заинтересовать его даму, в умственном отношении весьма скудно наделенную, как большая часть подобных светских прелестниц. Несмотря на это, она представлялась ему женщиной необыкновенной, а главное, он сознавал, что она производит на него какое-то особое, благотворное влияние. Так ему, по крайней мере, казалось. И вот в этом-то ослеплении, или самообмане, он дал себе твердое слово избавиться от своей пагубной привычки.

¹ Предположительно, ошибка наборщика. По смыслу должно быть *перенесенный*, или *перемещенный*.

One night, the big crash came. He was troubled in his own mind over his attempts to make himself "worthy of the friendship" of Mrs. Reiver. The past ten days had been very bad ones, and the end of it all was that he received the arrears of two and three-quarter years of sipping in one attack of delirium tremens of the subdued kind; beginning with suicidal depression, going on to fits and starts and hysteria, and ending with downright raving. As he sat in a chair in front of the fire, or walked up and down the room picking a handkerchief to pieces, you heard what poor Moriarty really thought of Mrs. Reiver, for he raved about her and his own fall for the most part; though he ravelled some P. W. D. accounts into the same skein of thought. He talked, and talked, and talked in a low dry whisper to himself, and there was no stopping him. He seemed to know that there was something wrong, and twice tried to pull himself together and confer rationally with the Doctor; but his mind ran out of control at once, and he fell back to a whisper and the story of his troubles. It is terrible to hear a big man babbling like a child of all that a man usually locks up, and puts away in the deep of his heart. Moriarty read out his very soul for the benefit of any one who was in the room between ten-thirty that night and two-forty-five next morning.

From what he said, one gathered how immense an influence Mrs. Reiver held over him, and how thoroughly he felt for his own lapse. His whisperings cannot, of course, be put down here; but they were very instructive as showing the errors of his estimates.

.....

When the trouble was over, and his few acquaintances were pitying him for the bad attack of jungle-fever that had so pulled him down, Moriarty swore a big oath to himself and went abroad again with Mrs. Reiver till the end of the season, adoring her in a quiet and deferential way as an angel from heaven. Later on he took to riding – not hacking, but honest riding – which was good proof that he was improving, and you could slam doors behind him without his jumping to his feet with a gasp. That, again, was hopeful.

How he kept his oath, and what it cost him in the beginning, nobody knows. He certainly managed to compass the hardest thing that a man who has drank heavily can do. He took his peg and wine at dinner, but he never drank alone, and never let what he drank have the least hold on him.

Once he told a bosom-friend the story of his great trouble, and how the "influence of a pure honest woman, and an angel as well" had saved

Трудно описать борьбу, которую он начал вести с собою и с этой привычкой, в этом он никому не сознавался. Но следует допустить (по множеству примеров у других), что неоднократно после трехдневного или четырехдневного воздержания вечером, если он никуда не был приглашен и сидел перед камином в своем кабинете, старое вожделение брало верх над решимостью и буль-буль раздавалось до поздней ночи.

Наконец с Мориартеем произошло нечто неожиданное. Бедняга усомнился в том, удастся ли ему добиться у миссис Рейверс расположения, дружбы и предпочтения его перед другими. Уже в течение десяти дней он чувствовал себя чрезвычайно расслабленным, старая привычка снова овладела им, как червяк, и он уже каждый вечер заливал этого червяка. Кончилось это белой горячкой. Форма ее была, впрочем, довольно мягкая, чуждая буйных порывов, появления чертиков, и ограничивалась душевным угнетением, истерией и склонностью к самоубийству и потерей иногда сознания. Погруженный в свои мысли или пробегая туда или назад по комнате, Мориартей говорил сам с собою громко, слова иногда переходили в шепот и опять разражались громом. Иногда он подумывал пригласить доктора, но это продолжалось недолго, и он опять бессвязным шепотом жаловался самому себе на свое падение.

Ужасны были эти детские жалобы в устах зрелого мужчины, жалобы поздние, тщетные, и ужасно было это бессилие воли. Но тот, кто бы подслушал их, немало бы удивился, до какой степени этим несчастным завладела пустейшая из женщин, миссис Рейверс, и как глубоко он себя обманывал ею.

Кризис, впрочем, благополучно закончился. Знакомые и сослуживцы поздравляли Мориартея с возвращением здоровья и приписывали болезни его последнему проявлению малярии. Мориартей поклялся в душе своей исправить себя. Обогащая по-прежнему миссис Рейверс, он поплелся за нею на воды. Там он избавился от трясения рук и вздрагивания от малейшего внезапного шума или прикосновения. Теперь можно было хлопать бичом перед самым его ухом – и он не пошевелился бы. Сидел он на своем буцефале прямо, вытянувшись в струнку, и лишь за обедом испивал немного вина. Много труда стоило ему себя превозмочь, но странное чувство к миссис Рейверс произвело чудо, укрепило волю, и последняя восторжествовала.

him. When the man – startled at anything good being laid to Mrs. Reiver's door – laughed, it cost him Moriarty's friendship. Moriarty, who is married now to a woman ten thousand times better than Mrs. Reiver – a woman who believes that there is no man on earth as good and clever as her husband – will go down to his grave vowing and protesting that Mrs. Reiver saved him from ruin in both worlds.

That she knew anything of Moriarty's weakness nobody believed for a moment. That she would have cut him dead, thrown him over, and acquainted all her friends with her discovery, if she had known of it, nobody who knew her doubted for an instant.

Moriarty thought her something she never was, and in that belief saved himself. Which was just as good as though she had been everything that he had imagined.

But the question is, what claim will Mrs. Reiver have to the credit of Moriarty's salvation, when her day of reckoning comes?

Kipling R. In Error [Электронный ресурс] // URL: [http://www. read-bookonline. net/readOnLine/2459/](http://www.read-bookonline.net/readOnLine/2459/) (access date: 21.02.2016).

Однажды, в припадке откровенности и некоторого особенного умиления при воспоминании о прошедших невзгодах, Мориартей вздумал поведать своему старому и лучшему другу о том чудотворном влиянии миссис Рейверс, которое он приписывал всецело ее чарам: он называл ее своим ангелом-спасителем. Но когда изумленный друг осмелился заметить, что миссис Рейверс, по своим похождениям успевши расстроить немало семейств, более походила на какого-то злого демона, чем на ангела, и что, если бы она узнала о том обоготворении ее Мориартеем, то она первая осмеяла бы его и назвала сумасшедшим, Мориартей взбесился, и старая дружба чуть не полетела к черту.

И Мориартей до сих пор (хотя обзавелся вполне достойной и любящей его женой) готов клясться всеми богами, что он только одной миссис Рейверс обязан своим возрождением. В самообольщении своем этот чудачина приписывает ей такие достоинства, от которых она сама бы отреклась. Но как бы то ни было, но самообман Мориартея действительно много помог ему в избавлении от роковой привычки. Не одно ли это с тем, если бы миссис Рейверс действительно обладала бы теми чудесными качествами, которые ей в своем ослеплении приписывал Мориартей?

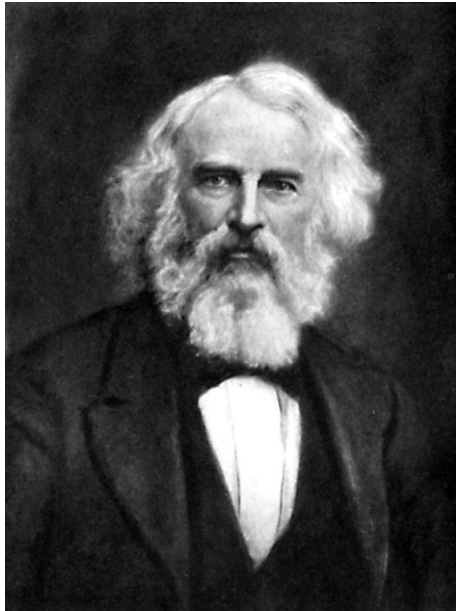
Х. Ныдро

Перевод опубликован в «Сибирском вестнике», 1907, № 197 (3 сентября). С. 2-3.

Литература

Горенинцева В.Н. Рецепция английской и американской литературы в томской периодике конца XIX – начала XX вв.: дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 2009. – 218 с.

Горенинцева В.Н. Индийские рассказы Р. Киплинга в рецепции томских критиков и переводчиков // *Европейская литература в зеркале сибирской периодики конца XIX – начала XX вв.* – Томск: Томский государственный университет. – 2009. С. 211–225.



Генри Уордсворт Лонгфелло
(Henry Wadsworth Longfellow, 1807–1882)

Генри Уордсворт Лонгфелло (Henry Wadsworth Longfellow, (1807–1882) – американский писатель, поэт-романтик, филолог, переводчик, знаток фольклора, прославился как автор «Песни о Гайавате». У себя на родине Лонгфелло был практически культовой фигурой, где его стихи входили в школьные хрестоматии и заучивались наизусть. Не менее популярно его творчество было и в Старом Свете – в Англии и Германии.

В российских литературных кругах имя Лонгфелло появилось в середине XIX в., и на протяжении всей второй половины XIX в. в России продолжалось активное осмысление его творчества: его стихи, помимо многочисленных книжных изданий, печатались в массовой периодике, а на смерть американского поэта-романтика в 1882 г. откликнулись многие русские газеты и журналы. Критики восхваляли его понимание жизни и природы в высоконравственном духе, светлый, чистый ум, глубокое христианское чувство и любовь к человечеству. С другой стороны, принципиально иная оценка американского романтика была дана народником П.Л. Лавровым, охарактеризовавшим Лонгфелло как поэта для масс. Одновременно с критическим осмыслением творчества Лонгфелло происходило интенсивное переводческое усвоение его поэзии на российской почве. К творчеству американского поэта в разное время обращались М.Л. Михайлов, А.Н. Майков, П.И. Вейнберг, Д.Л. Михайловский, Вс. Костомаров, П. Быков, Е. Бекова, Д. Садовников, М. Ватсон, выбиравшие преимущественно произведения с острой социальной проблематикой.

Критика

Анонимная библиографическая заметка о Г.У. Лонгфелло появилась в «Сибирской жизни» в 1903 г. и была посвящена выходу эпоса «Песнь о Гайавате» (The Song of Hiawatha, 1855) в переводе И.А. Бунина. В этой публикации анонимный томский рецензент ставил, по меньшей мере, две задачи: представить томскому читателю само произведение Лонгфелло, обозначив его роль в становлении

национальной американской литературы, и дать оценку переводческой удаче Бунина. В своей оценке перевода томский критик разделяет мнение столичных авторитетов о том, что знаменитая поэма Лонгфелло «дождалась действительно талантливого, а в большей своей части и прямо образцового перевода на русский язык» и рекомендует томскому читателю знакомиться с произведением Лонгфелло именно по переводу Бунина. Единственный недостаток, обнаруженный томским рецензентом в новом издании, не имел отношения ни к самому произведению, ни к качеству перевода. Критике подверглись иллюстрации, совершенно разрушавшие гармоничное впечатление, создаваемое мелодичностью стиха и красотой описаний. «Лица краснокожих индейцев так безобразны, — возмущался обозреватель, — что решительно не гармонируют с описаниями их красоты и прелести в тексте».

Переводы

В 1907 г. газета «Сибирская мысль» опубликовала перевод баллады Лонгфелло «Excelsior» (1841), являвшейся одним из самых известных произведений американского поэта-романтика в России рубежа XIX–XX вв. Пик популярности стихотворения у российских переводчиков пришелся на последнюю треть XIX в., когда появилось не менее семи его вариантов, причем среди переводчиков можно упомянуть таких признанных мастеров, как Ч. Ветринский, А.Н. Майков, Д.Л. Михаловский, О.Н. Чюмина. Критика 1880-х гг. объясняла внимание «разноплановых» переводчиков к балладе Лонгфелло её «туманностью». Так, народник П. Лавров полагал, что «Excelsior» стал любимым стихотворением в годы так называемого «безвременья» в силу своей неопределенности, религиозности и отсутствия связи с практическими задачами личной и общественной жизни.

Вполне очевидно, что томский критик, поэт-народник и переводчик Г.А. Вяткин, обращаясь к стихотворению Лонгфелло в 1907 г., также вкладывал в него собственное понимание, отражающее его гражданскую и нравственную позицию, что находит отражение и в выбранной им стратегии перевода: Вяткин актуализирует устремленность к духовному подвигу, самосовершенствованию. Выбранная переводчиком стратегия может быть определена как трансформация нравственно-эстетического канона. Перевод выполнен сибирским поэтом в начале 1907 г., когда, несмотря на продолжавшиеся в стра-

не забастовки, стачки, крестьянские волнения, выступления в армии и на флоте, стало ясно, что первая русская революция потерпела поражение. В таком контексте вольный перевод из Лонгфелло являлся своеобразной манифестацией нравственной и гражданской позиции Вяткина. В условиях реакции в общественной жизни страны он осуждает пессимистические настроения в обществе и в литературе и призывает возвратиться к романтическим идеалам. Усиливая в переводе мотив борьбы, преодоления, устремленности к подвигу, Вяткин через произведение Лонгфелло формулирует свою собственную гражданскую и нравственную позицию. Примечательно, что в сборнике «Под северным солнцем», вышедшем в Томске в 1912 г. и объединившем стихи Вяткина за 1906–1912 гг., можно найти стихотворение, четвертая строфа которого перекликается с его переводом из Лонгфелло:

Чрез скалы и кручи, с восторгом и страстью,
Мы зная родное несем.
По скалам и кручам к великому счастью,
К бессмертному счастью идем.

Публикации

1. Рец. на книгу: Лонгфелло, Г. Песнь о Гайавате. Пер. И. Бунина // Сибирская жизнь. – 1903. – № 257 (27 ноября). – С. 3.
2. Лонгфелло Г. Excelsior! (пер. Г. Вяткина) // Сибирская мысль. – 1907. – № 65. – С. 3.

Excelsior! (1841)

The shades of night were falling fast,
As through an Alpine village passed
A youth, who bore, 'mid snow and ice,
A banner with the strange device,
 Excelsior!

His brow was sad; his eye beneath,
Flashed like a falchion from its sheath,
And like a silver clarion rung
The accents of that unknown tongue,
 Excelsior!

In happy homes he saw the light
Of household fires gleam warm and bright;
Above, the spectral glaciers shone,
And from his lips escaped a groan,
 Excelsior!

"Try not the Pass!" the old man said;
"Dark lowers the tempest overhead,
The roaring torrent is deep and wide!"
And loud that clarion voice replied,
 Excelsior!

"Oh stay," the maiden said, "and rest
Thy weary head upon this breast! "
A tear stood in his bright blue eye,
But still he answered, with a sigh,
 Excelsior!

"Beware the pine-tree's withered branch!
Beware the awful avalanche!"
This was the peasant's last Good-night,
A voice replied, far up the height,
 Excelsior!

Excelsior!

(Выше!)

По скалам и кручам
В порыве могучем
Бестрепетно юноша шел.
И бросил он вызов клубящимся тучам,
Смел, как орел:

«Выше!»

Усталый от муки,
В упрямые руки
Ревниво он знамя зажал,
И голос его, точно трубные звуки,
Вдаль уплывал:

«Выше!»

Отрадно мерцали,
Манили и звали
В окрестных селеньях огни,
А здесь ледники, словно тени, вставали.
Давили они...

«Выше!»

О, юноша странный,
Храни свои раны,
Назад возвращайся от бед, –
Сказал ему старец, – теперь уж не рано...
И что же в ответ?

«Выше!»

О, юноша милый,
Храни свои силы,
Я дам тебе ласку и свет, –
Сказала красавица, – там ведь могила...
И что же в ответ?

«Выше!»

Когда в умиленьи
Творил песнопенья
Отшельник святой на заре,
Услышал он голос, как гром в отдаленьи,
На дальней горе:

«Выше!»

At break of day, as heavenward
The pious monks of Saint Bernard
Uttered the oft-repeated prayer,
A voice cried through the startled air,
Excelsior!

A traveller, by the faithful hound,
Half-buried in the snow was found,
Still grasping in his hand of ice
That banner with the strange device,
Excelsior!

There in the twilight cold and gray,
Lifeless, but beautiful, he lay,
And from the sky, serene and far,
A voice fell like a falling star,
Excelsior!

Longfellow H.W. Excelsior! [Электронный ресурс] // URL: <https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/44631> (access date: 21.02/2016)

И только весною
Безумца-героя
Замерзшим в сугробах нашли.
Застыло в руке его знамя святое,
На нем же прочли:
 «Выше!»
И были бесстрастны,
И были прекрасны
Черты молодого лица.
И солнце ласкало на знамени ясном
Завет мертвеца:
 «Выше!»

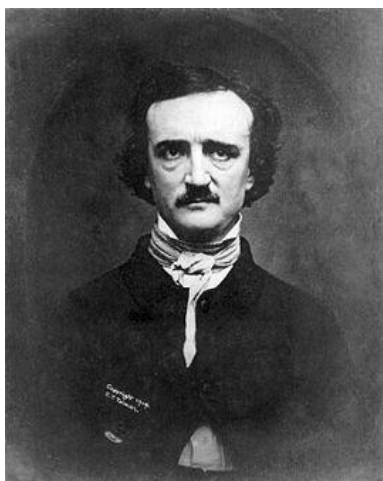
Пер. Г. Вяткин

*Перевод опубликован в «Сибирской мысли», 1907, № 65 (14 января).
С. 2.*

Литература

Горенинцева В.Н. Рецепция английской и американской литературы в томской периодике конца XIX – начала XX вв.: дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 2009. – 218 с.

Горенинцева В.Н. «Excelsior!» Г. Лонгфелло в переводе Г. Вяткина: стратегия переводческой адаптации // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2, Искусствоведение. Филологические науки: периодический научный журнал. – 2010. – № 3. – С. 35–38.



Эдгар Аллан По
(Edgar Allan Poe, 1809-1849)

Эдгар Аллан По (**Edgar Allan Poe, 1809–1849**) – известный американский писатель, поэт, эссеист и литературный критик, основоположник жанра психологической прозы и детектива в его современной форме. Наибольшей популярностью среди читателей пользуются его «мистические» рассказы, а также стихотворение «Ворон».

Критика

Творчество Э. По было представлено сибирскому читателю в небольшой заметке И. Иванова, которая вышла в газете «Сибирская жизнь» за 1912 г. Этой заметкой томский критик откликнулся на выход пятого тома собрания сочинений американского писателя в переводе К.Д. Бальмонта в 1912 г. Основные достоинства поэзии американского романтика томский критик видел в ее «магической глубине и мелодичности». Иванов сразу определяет круг потенциальных читателей По: оригинальное творчество американского писателя будет особенно интересно тем, кто разделяет эстетические искания представителей новейшей литературы.

Переводы

Сибирский читатель получил возможность познакомиться как с прозаическим, так и с поэтическим образцом творчества Э. По в переводах местных авторов. В 1908 г. в газете «Сибирская жизнь» появился перевод знаменитой новеллы Э. По «Черный кот» («The Black Cat», 1843) в переводе Ильи Л. Появление перевода данной новеллы в провинциальной газете в начале XX в. соответствовало потребностям массового читателя, на рубеже веков интересовавшегося всевозможными проявлениями психологии и парапсихологии. Особенность томского варианта перевода новеллы заключается в усилении морализаторского пафоса: все жестокие и аморальные поступки героя объясняются деструктивным влиянием на него алкоголя, представленного как абсолютное зло. За выбором подобной переводческой стратегии угадывается нравственная позиция переводчика.

В 1911 г. газета «Сибирская жизнь» опубликовала стихотворение Э. По «Сон» (Dream, 1827), переведенное И. Ивановым. Иванов предпринял попытку как можно точнее передать оригинальный текст. В этом плане его перевод заметно выделяется на фоне немногочисленных и значительно трансформированных томских переводов англоязычной поэзии. Постаравшись максимально точно передать образную и лексическую структуру оригинала, Иванов дал томскому читателю представление о творческой манере, мотивах и образах лирики Э. По.

Публикации

1. По Э. Собр. Соч.: в 5 т. Т. 5. (пер. с англ.) [рецензия] // Сибирская жизнь. – 1912. – № 115 (25 мая). – С. 3. Подпись. И. Иванов.
2. По Э. Сновидение (пер. с англ.) // Сибирская жизнь. – 1911. – № 281 (21 декабря). – С. 3. Пер. И. Иванов.
3. По Э. Черная кошка (пер. с франц.) // Сибирская жизнь. – 1908. – № 54 (16 марта). – С. 2. Пер. И. Иванов.

The Black Cat (1843)

For the most wild, yet most homely narrative which I am about to pen, I neither expect nor solicit belief. Mad indeed would I be to expect it, in a case where my very senses reject their own evidence. Yet, mad am I not – and very surely do I not dream. But to-morrow I die, and to-day I would unburthen my soul. My immediate purpose is to place before the world, plainly, succinctly, and without comment, a series of mere household events. In their consequences, these events have terrified – have tortured – have destroyed me. Yet I will not attempt to expound them. To me, they have presented little but Horror – to many they will seem less terrible than barroques. Hereafter, perhaps, some intellect may be found which will reduce my phantasm to the common-place – some intellect more calm, more logical, and far less excitable than my own, which will perceive, in the circumstances I detail with awe, nothing more than an ordinary succession of very natural causes and effects.

From my infancy I was noted for the docility and humanity of my disposition. My tenderness of heart was even so conspicuous as to make hardly be at the trouble of explaining the nature or the intensity of the gratification thus derivable. There is something in the unselfish and self-

Черная кошка

Я совсем не жду и не требую, чтобы вы верили этой очень странной и вместе с тем очень обыкновенной истории, о которой я рассказываю. И в самом деле, было бы безумием с моей стороны ожидать этого, когда мои собственные чувства сомневаются в том, что я испытал.

И несмотря на то, я не сумасшедший, и, вне всякого сомнения, мне это не снилось. Но завтра – я умру, а сегодня мне хотелось бы облегчить свою душу. Мое настоящее намерение представить свету коротко, ясно и без комментариев ряд простых обыкновенных событий. Но, следуя одно за другим, эти события меня напугали, – меня замучили, – меня уничтожили.

Несмотря на то, я не буду стараться их разъяснять. Меня лично они преисполнили одним только ужасом; – многим другим они покажутся скорее странными, чем ужасными.

Впоследствии, может быть, найдется такой ум, который причислит мой фантом к обыкновенным происшествиям, – ум более спокойный, более логичный и гораздо менее возбужденный, чем мой, который в тех обстоятельствах, которые я рассказываю с ужасом, найдет только обыкновенное следствие обыкновенных причин и фактов.

sacrificing love of a brute, which goes directly to the heart of him who has had frequent occasion to test the paltry friendship and gossamer fidelity of mere Man.

I married early, and was happy to find in my wife a disposition not uncongenial with my own. Observing my partiality for domestic pets, she lost no opportunity of procuring those of the most agreeable kind. We had birds, gold-fish, a fine dog, rabbits, a small monkey, and a cat.

This latter was a remarkably large and beautiful animal, entirely black, and sagacious to an astonishing degree. In speaking of his intelligence, my wife, who at heart was not a little tinctured with superstition, made frequent allusion to the ancient popular notion, which regarded all black cats as witches in disguise. Not that she was ever serious upon this point – and I mention the matter at all for no better reason than that it happens, just now, to be remembered.

Pluto – this was the cat's name – was my favorite pet and playmate. I alone fed him, and he attended me wherever I went about the house. It was even with difficulty that I could prevent him from following me through the streets.

Our friendship lasted, in this manner, for several years, during which my general temperament and character – through the instrumentality of the Fiend Intemperance – had (I blush to confess it) experienced a radical alteration for the worse. I grew, day by day, more moody, more irritable, more regardless of the feelings of others. I suffered myself to use intemperate language to my wife. At length, I even offered her personal violence. My pets, of course, were made to feel the change in my disposition. I not only neglected, but ill-used them. For Pluto, however, I still retained sufficient regard to restrain me from maltreating him, as I made no scruple of maltreating the rabbits, the monkey, or even the dog, when by accident, or through affection, they came in my way. But my disease grew upon me – for what disease is like Alcohol! – and at length even Pluto, who was now becoming old, and consequently somewhat peevish – even Pluto began to experience the effects of my ill temper.

One night, returning home, much intoxicated, from one of my haunts about town, I fancied that the cat avoided my presence. I seized him; when, in his fright at my violence, he inflicted a slight wound upon my hand with his teeth. The fury of a demon instantly possessed me. I knew myself no longer. My original soul seemed, at once, to take its flight from my body and a more than fiendish malevolence, gin-nurtured, thrilled every fibre of my frame. I took from my waistcoat-pocket a pen-knife,

С детства я отличался послушностью и добротой своего характера. Я был настолько нежен сердцем, что благодаря этому стал игрушкой для своих товарищей. В особенности я безумно любил животных, и родители позволили мне обладать целой коллекцией любимцев. Я проводил с ними почти все свое время и никогда не был так счастлив, как когда их кормил и ласкал.

Эта особенность моего характера увеличивалась по мере того, как я рос, и, когда я стал мужчиной, я сделал ее главным источником своих удовольствий. Тем, которые ощущали любовь к верной и умной собаке, мне нет надобности объяснять силу или род удовольствий, которые при этом можно получить. В бескорыстной любви животного, в этой жертве своим существом есть нечто, что схватывает прямо за сердце того, который часто имел случай убеждаться в фальшивой дружбе и эфемерной верности *нормального человека*.

Я рано женился и был счастлив, найдя в моей жене склонность, соответствующую моей. Заметив мое расположение к домашним любимцам, она не пропускала случая доставить мне такого рода удовольствие. У нас были птицы, золотые рыбки, красивая собака, кролики, маленькая обезьяна и – *кошка*.

Кошка эта была замечательно красивое и сильное животное, совершенно черная и невероятно умная. Говоря об её уме, жена моя, которая, в сущности говоря, была довольно суеверна, часто ссылалась на старое распространенное поверие, по которому все черные кошки представляют из себя замаскированных колдуний. Конечно, она говорила не совсем серьезно, и если я упоминаю об этом, то только потому, что это пришло мне как раз в голову.

Плутон – так звали кошку – был мой любимец, мой друг. Я сам его кормил, и он следовал за мной дома повсюду, куда я ходил. Было даже трудно удерживать его следовать за мной, когда я выходил на улицу.

Наша дружба продолжалась таким образом несколько лет, во время которых мой характер и мой темперамент, благодаря демону излишества – стыжусь в этом сознаться – потерпели некоторые радикальные и скверные изменения.

Я становился со дня на день все более угрюмым, вспыльчивым и совершенно не заботился о чувствах других. Я позволял себе быть очень грубым по отношению к жене. Наконец, я даже стал ее поколачивать.

opened it, grasped the poor beast by the throat, and deliberately cut one of its eyes from the socket! I blush, I burn, I shudder, while I pen the damnable atrocity.

When reason returned with the morning – when I had slept off the fumes of the night's debauch – I experienced a sentiment half of horror, half of remorse, for the crime of which I had been guilty; but it was, at best, a feeble and equivocal feeling, and the soul remained untouched. I again plunged into excess, and soon drowned in wine all memory of the deed.

In the meantime the cat slowly recovered. The socket of the lost eye presented, it is true, a frightful appearance, but he no longer appeared to suffer any pain. He went about the house as usual, but, as might be expected, fled in extreme terror at my approach. I had so much of my old heart left, as to be at first grieved by this evident dislike on the part of a creature which had once so loved me. But this feeling soon gave place to irritation. And then came, as if to my final and irrevocable overthrow, the spirit of PERVERSENESS. Of this spirit philosophy takes no account. Yet I am not more sure that my soul lives, than I am that perverseness is one of the primitive impulses of the human heart – one of the indivisible primary faculties, or sentiments, which give direction to the character of Man. Who has not, a hundred times, found himself committing a vile or a silly action, for no other reason than because he knows he should not? Have we not a perpetual inclination, in the teeth of our best judgment, to violate that which is Law, merely because we understand it to be such? This spirit of perverseness, I say, came to my final overthrow. It was this unfathomable longing of the soul to vex itself – to offer violence to its own nature – to do wrong for the wrong's sake only – that urged me to continue and finally to consummate the injury I had inflicted upon the unoffending brute. One morning, in cool blood, I slipped a noose about its neck and hung it to the limb of a tree; – hung it with the tears streaming from my eyes, and with the bitterest remorse at my heart; – hung it because I knew that it had loved me, and because I felt it had given me no reason of offence; – hung it because I knew that in so doing I was committing a sin – a deadly sin that would so jeopardize my immortal soul as to place it – if such a thing were possible – even beyond the reach of the infinite mercy of the Most Merciful and Most Terrible God.

On the night of the day on which this cruel deed was done, I was aroused from sleep by the cry of fire. The curtains of my bed were in flames. The whole house was blazing. It was with great difficulty that my wife, a servant, and myself, made our escape from the conflagration.

Мои бедные любимцы должны были, конечно, тоже почувствовать изменение в моем характере. Не только, что я о них более не заботился, я даже скверно с ними обращался. Что касается Плутона, я относился все-таки к нему с некоторым почтением, которое не допускало меня обращаться с ним скверно, между тем как я совершенно не чувствовал угрызений совести, мучая кроликов, обезьяну и даже собаку, когда случайно или влекомые дружкой они попадались мне на дороге.

Но болезнь моя все более и более охватывала меня – ибо какое зло может сравниться с алкоголем! – и, наконец, даже сам Плутон, который теперь становился стар и потому был иногда неприятен, – даже сам Плутон начал ощущать следствия моего злого характера.

Однажды ночью, когда я возвратился домой совершенно пьяным по выходе из одного кабака в предместье города, который я часто посещал, я вообразил себе, что кошка избегает моего присутствия. Я схватил ее, но она, испуганная моим гневом, укусила меня зубами слегка за руку. Я не узнавал себя более. Моя собственная душа, казалось, улетела из моего тела и невероятная дьявольская злость, насыщенная водкой, проникла во все фибры моего существа. Я вытащил из своего жилетного кармана перочинный ножик, открыл его, схватил бедное животное за горло и в мгновение ока выпустил ему глаз из орбиты! Я краснею, я горю от стыда, я дрожу при мысли об этой проклятой жестокости.

Утром, когда сознание возвратилось ко мне, когда исчезли пары вина, задурманивавшие мою голову после ночной попойки, я почувствовал в себе наполовину ужас, наполовину укоры совести по поводу преступления, которое я совершил; но это было в высшей степени слабое и нетвердое чувство и на душу мою оно не произвело никакого впечатления. Я опять окунулся в излишества и скоро утопил в вине всякое воспоминание о моем поступке.

А между тем выздоровление кошки шло очень медленно. Орбита потерянного глаза представляла, правда, ужасный вид, но кошка, по видимому, уже не чувствовала боли. Она расхаживала по обыкновению по дому взад и вперед; но, как и следовало ожидать, мое приближение приводило ее в сильнейший ужас. Во мне осталось все-таки немного моих прежних чувств, чтобы быть, прежде всего, огорченным этой очевидной антипатией со стороны создания, которое когда-то меня так любило.

The destruction was complete. My entire worldly wealth was swallowed up, and I resigned myself thenceforward to despair.

I am above the weakness of seeking to establish a sequence of cause and effect, between the disaster and the atrocity. But I am detailing a chain of facts – and wish not to leave even a possible link imperfect. On the day succeeding the fire, I visited the ruins. The walls, with one exception, had fallen in. This exception was found in a compartment wall, not very thick, which stood about the middle of the house, and against which had rested the head of my bed. The plastering had here, in great measure, resisted the action of the fire – a fact which I attributed to its having been recently spread. About this wall a dense crowd were collected, and many persons seemed to be examining a particular portion of it with very minute and eager attention. The words "strange!" "singular!" and other similar expressions, excited my curiosity. I approached and saw, as if graven in bas relief upon the white surface, the figure of a gigantic cat. The impression was given with an accuracy truly marvellous. There was a rope about the animal's neck.

When I first beheld this apparition – for I could scarcely regard it as less – my wonder and my terror were extreme. But at length reflection came to my aid. The cat, I remembered, had been hung in a garden adjacent to the house. Upon the alarm of fire, this garden had been immediately filled by the crowd – by some one of whom the animal must have been cut from the tree and thrown, through an open window, into my chamber. This had probably been done with the view of arousing me from sleep. The falling of other walls had compressed the victim of my cruelty into the substance of the freshly-spread plaster; the lime of which, with the flames, and the ammonia from the carcass, had then accomplished the portraiture as I saw it.

Although I thus readily accounted to my reason, if not altogether to my conscience, for the startling fact just detailed, it did not the less fail to make a deep impression upon my fancy. For months I could not rid myself of the phantasm of the cat; and, during this period, there came back into my spirit a half-sentiment that seemed, but was not, remorse. I went so far as to regret the loss of the animal, and to look about me, among the vile haunts which I now habitually frequented, for another pet of the same species, and of somewhat similar appearance, with which to supply its place.

One night as I sat, half stupified, in a den of more than infamy, my attention was suddenly drawn to some black object, reposing upon the head of one of the immense hogsheds of Gin, or of Rum, which constituted

В ночь после дня, когда мной совершен был этот жестокий поступок, я был разбужен от сна криком: пожар! Занавеси у моей постели были в пламени. Весь дом пылал. Только с большим трудом нам удалось избежать гибели – моей жене, прислуге и мне. Разрушение было полное. Все мое последнее погибло, и я предался с тех пор отчаянию.

Я не пытаюсь установить связь между фактом и причиной, между жестокостью и разрушением, я стою поверх этой слабости. Но я передаю ряд фактов, – и я не хочу пропустить ни одного события. На следующий день после пожара я посетил развалины. Стены были разрушены за исключением одной, и это единственное исключение была внутренняя стена, не толстая, расположенная почти посреди дома и к которой прислонялось изголовье моей кровати. Камень на этом месте почти повсюду воспротивился действию огня – факт, который я объясняю тем, что она была недавно только отремонтирована.

Вокруг этой стены собралась густая толпа народу, и несколько человек рассматривали, по-видимому, часть стены с тщательным и живым интересом. Слова «странно», «замечательно» и тому подобные выражения возбудили мое любопытство.

Я приблизился и увидел на белой поверхности стены изображение громадной *кошки*, положенное подобно барельефу. Изображение было передано с замечательнейшей точностью...

Однажды ночью, когда я сидел наполовину пьяный в одном кабаке очень низкого пошиба, внимание мое вдруг привлек какой-то черный предмет, находившийся на верхушке одной из громадных бочек с водкой или с ромом, которые составляли главную меблировку комнаты. Несколько минут я пристально глядел на верхушку этой бочки, меня очень удивляло то, что я никогда до сих пор не замечал никакого предмета там наверху.

Я приблизился и дотронулся рукой до него. Это была черная кошка, по крайней мере, такая же толстая, как Плутон; она очень походила на него, за исключением одного пункта.

На всем туловище Плутона не было нигде белой шерсти. У этой же были большие белые, но неопределенной формы пятна, которые покрывали почти всю грудь.

Только что я дотронулся до неё, как она быстро поднялась, громко замурлыкала, начала тереться об мою руку и, казалось, была в восторге от моего внимания. Это было как раз то, что я искал.

the chief furniture of the apartment. I had been looking steadily at the top of this hogshead for some minutes, and what now caused me surprise was the fact that I had not sooner perceived the object thereupon. I approached it, and touched it with my hand. It was a black cat – a very large one – fully as large as Pluto, and closely resembling him in every respect but one. Pluto had not a white hair upon any portion of his body; but this cat had a large, although indefinite splotch of white, covering nearly the whole region of the breast. Upon my touching him, he immediately arose, purred loudly, rubbed against my hand, and appeared delighted with my notice. This, then, was the very creature of which I was in search. I at once offered to purchase it of the landlord; but this person made no claim to it – knew nothing of it – had never seen it before.

I continued my caresses, and, when I prepared to go home, the animal evinced a disposition to accompany me. I permitted it to do so; occasionally stooping and patting it as I proceeded. When it reached the house it domesticated itself at once, and became immediately a great favorite with my wife.

For my own part, I soon found a dislike to it arising within me. This was just the reverse of what I had anticipated; but – I know not how or why it was – its evident fondness for myself rather disgusted and annoyed. By slow degrees, these feelings of disgust and annoyance rose into the bitterness of hatred. I avoided the creature; a certain sense of shame, and the remembrance of my former deed of cruelty, preventing me from physically abusing it. I did not, for some weeks, strike, or otherwise violently ill use it; but gradually – very gradually – I came to look upon it with unutterable loathing, and to flee silently from its odious presence, as from the breath of a pestilence.

What added, no doubt, to my hatred of the beast, was the discovery, on the morning after I brought it home, that, like Pluto, it also had been deprived of one of its eyes. This circumstance, however, only endeared it to my wife, who, as I have already said, possessed, in a high degree, that humanity of feeling which had once been my distinguishing trait, and the source of many of my simplest and purest pleasures.

With my aversion to this cat, however, its partiality for myself seemed to increase. It followed my footsteps with a pertinacity which it would be difficult to make the reader comprehend. Whenever I sat, it would crouch beneath my chair, or spring upon my knees, covering me with its loathsome caresses. If I arose to walk it would get between my feet and thus nearly throw me down, or, fastening its long and sharp

Я сейчас же предложил хозяину купить ее у него; но этот человек не требовал её от меня обратно – он её не знал – никогда прежде не видел...

Я продолжал ее ласкать, а когда я собирался возвратиться домой, животное выказало желание следовать за мной. Я допустил это и, идя по дороге, время от времени наклонялся и гладил ее. Когда мы пришли, она почувствовала себя и у меня как дома и сейчас же стала большим другом моей жены.

Что касается меня, я почувствовал скоро в себе антипатию по отношению к ней. Это было как раз противоположно, что ожидал: но, не знаю, как и почему, – ее очевидная привязанность ко мне возбуждала во мне отвращение и утомляла меня. Понемногу эти чувства отвращения и досады, все более и более увеличиваясь, достигли, наконец, того, что я стал ее ненавидеть. Я избегал эту тварь; но чувство стыда и воспоминанье о моем первом жестоком поступке не допускали меня обращаться с ней плохо.

В продолжение нескольких недель я удерживался не бить кошку и не мучить ее; но постепенно и нечувствительно я дошел до того, что смотрел на нее с несказанным ужасом и молча избегал её, как зачумленного воздуха.

Что, вне сомненья, увеличило мою ненависть к этому животному, это – открытие, которое я совершил наутро после того, как привел ее домой. Она, как и Плутон, была лишена одного из своих глаз.

Однако это обстоятельство сделало ее еще более дорогой для моей жены, которая, как я уже сказал, в высшей степени обладала той нежностью чувств, которая когда-то была моей характеристической чертой и частым источником самых простых и чистых удовольствий.

Несмотря на то любовь кошки ко мне, казалось, увеличивалась, несмотря на мое отвращение к ней. Она следовала по моим следам с таким упорством, которое невозможно объяснить читателю. Каждый раз, как только я садился, она терлась у ножек моего стула или вспрыгивала ко мне на колени, непрерывно и нежно ласкаясь ко мне. Если я вставал, чтобы пройти по комнате, она вертелась у меня под ногами, так что я чуть не падал, или же, уцепившись своими длинными и острыми когтями за мои брюки, старалась таким образом добраться к груди.

В эти минуты я испытывал желанье убить ее, уничтожить. Мне мешало всегда в этот момент воспоминание о моем первом преступлении, но главное, в чем я должен сейчас сознаться, – какой-то *ужас*, который я испытывал перед этим животным.

claws in my dress, clamber, in this manner, to my breast. At such times, although I longed to destroy it with a blow, I was yet withheld from so doing, partly by a memory of my former crime, but chiefly – let me confess it at once – by absolute dread of the beast.

This dread was not exactly a dread of physical evil – and yet I should be at a loss how otherwise to define it. I am almost ashamed to own – yes, even in this felon's cell, I am almost ashamed to own – that the terror and horror with which the animal inspired me, had been heightened by one of the merest chimaeras it would be possible to conceive. My wife had called my attention, more than once, to the character of the mark of white hair, of which I have spoken, and which constituted the sole visible difference between the strange beast and the one I had destroyed. The reader will remember that this mark, although large, had been originally very indefinite; but, by slow degrees – degrees nearly imperceptible, and which for a long time my Reason struggled to reject as fanciful – it had, at length, assumed a rigorous distinctness of outline. It was now the representation of an object that I shudder to name – and for this, above all, I loathed, and dreaded, and would have rid myself of the monster had I dared – it was now, I say, the image of a hideous – of a ghastly thing – of the GALLOWES ! – oh, mournful and terrible engine of Horror and of Crime – of Agony and of Death !

And now was I indeed wretched beyond the wretchedness of mere Humanity. And a brute beast – whose fellow I had contemptuously destroyed – a brute beast to work out for me – for me a man, fashioned in the image of the High God – so much of insufferable wo! Alas!

neither by day nor by night knew I the blessing of Rest any more! During the former the creature left me no moment alone; and, in the latter, I started, hourly, from dreams of unutterable fear, to find the hot breath of the thing upon my face, and its vast weight – an incarnate Night-Mare that I had no power to shake off – incumbent eternally upon my heart!

Beneath the pressure of torments such as these, the feeble remnant of the good within me succumbed. Evil thoughts became my sole intimates – the darkest and most evil of thoughts. The moodiness of my usual temper increased to hatred of all things and of all mankind; while, from the sudden, frequent, and ungovernable outbursts of a fury to which I now blindly abandoned myself, my uncomplaining wife, alas! was the most usual and the most patient of sufferers.

One day she accompanied me, upon some household errand, into the cellar of the old building which our poverty compelled us to inhabit. The

Мое постоянно плохое расположение духа дошло, наконец, до того, что я стал чувствовать ненависть ко всему на свете вообще и ко всякому проявлению доброты в особенности; жена моя, которая, однако, никогда не жаловалась, была обыкновенно безответной жертвой, выносившей мои внезапные, частые и бесчисленные вспышки бешенства, которым с тех пор я слепо предавался.

Однажды она сопровождала меня за какой-то домашней надобностью в погреб того старого зданья, где нас заставила жить наша бедность. По крутым ступеням лестницы за мной последовала кошка; вертясь под ногами, она чуть не опрокинула меня и этим довела меня до бешенства, до сумасшествия. Подняв топор и в гневе забыв тот мальчишеский страх, который до сих пор удерживал мою руку, я замахнулся на животное ударом, который был бы смертельным, если бы он был нанесен, как я этого хотел, но этот удар был задержан рукой моей жены.

Это вмешательство привело меня в более чем дьявольское бешенство; я вырвал руку из рук моей жены и всадил ей мой топор в череп. Она упала на месте, мертвая, не издав ни одного крика.

Совершив это страшное убийство, я принялся немедленно и решительно прятать труп.

При помощи инструментов я совершенно свободно вытащил часть кирпичей из стены, и, аккуратно прислонив тело к внутренней стене, я поддерживал его в этом положении до тех пор, пока не восстановил всю стену совершенно так, как она была раньше. Пользуясь цементом, песком и краской, со всевозможными предосторожностями я приготовил штукатурку, которая ничем не отличалась от старой, и тщательно покрыл ею кирпичи. Когда я кончил, я увидел с удовлетворением, что все было сделано как нельзя лучше. На стене не было заметно никакого следа беспорядка. Я убрал самым тщательным образом весь мусор, очистил, так сказать, почву. Затем я торжествующе осмотрелся вокруг и сказал самому себе: «Здесь, по крайней мере, мой труд не пропал даром!»

Первое мое движение потом было – найти животное, которое было причиной этого великого несчастья, потому что я твердо решил все-таки убить ее. Если бы я действительно нашел её в этот момент, участь её была бы очевидна; но, по-видимому, хитрое животное испугалось моей ярости и позаботилось не попадаться мне на глаза при моем настоящем расположении духа.

cat followed me down the steep stairs, and, nearly throwing me headlong, exasperated me to madness. Uplifting an axe, and forgetting, in my wrath, the childish dread which had hitherto stayed my hand, I aimed a blow at the animal which, of course, would have proved instantly fatal had it descended as I wished. But this blow was arrested by the hand of my wife. Goaded, by the interference, into a rage more than demoniacal, I withdrew my arm from her grasp and buried the axe in her brain. She fell dead upon the spot, without a groan.

This hideous murder accomplished, I set myself forthwith, and with entire deliberation, to the task of concealing the body. I knew that I could not remove it from the house, either by day or by night, without the risk of being observed by the neighbors. Many projects entered my mind. At one period I thought of cutting the corpse into minute fragments, and destroying them by fire. At another, I resolved to dig a grave for it in the floor of the cellar. Again, I deliberated about casting it in the well in the yard – about packing it in a box, as if merchandize, with the usual arrangements, and so getting a porter to take it from the house. Finally I hit upon what I considered a far better expedient than either of these. I determined to wall it up in the cellar – as the monks of the middle ages are recorded to have walled up their victims.

For a purpose such as this the cellar was well adapted. Its walls were loosely constructed, and had lately been plastered throughout with a rough plaster, which the dampness of the atmosphere had prevented from hardening. Moreover, in one of the walls was a projection, caused by a false chimney, or fireplace, that had been filled up, and made to resemble the red of the cellar. I made no doubt that I could readily displace the bricks at this point, insert the corpse, and wall the whole up as before, so that no eye could detect any thing suspicious. And in this calculation I was not deceived. By means of a crow-bar I easily dislodged the bricks, and, having carefully deposited the body against the inner wall, I propped it in that position, while, with little trouble, I relaid the whole structure as it originally stood. Having procured mortar, sand, and hair, with every possible precaution, I prepared a plaster which could not be distinguished from the old, and with this I very carefully went over the new brickwork. When I had finished, I felt satisfied that all was right. The wall did not present the slightest appearance of having been disturbed. The rubbish on the floor was picked up with the minutest care. I looked around triumphantly, and said to myself – "Here at least, then, my labor has not been in vain."

Она не показывалась в продолжение всей ночи, и таким образом это была первая хорошая ночь со дня её появления в доме, которую я проспал крепко и спокойно, да, я *спал*, имея на своей душе это тяжкое преступление!

На четвертый день со дня убийства в дом явился неожиданно отряд полиции и произвел тщательный обыск. Несмотря на то, будучи уверенным, что спрятанное мною они ни за что не найдут, я не почувствовал никакого смущения. Они заставили меня сопровождать их в их поисках. Они не оставили ни одного уголка, ни одного закоулка не осмотренным. Наконец, в третий или четвертый раз они сошли в погреб. Ни одного мускула не дрогнуло в лице моем, сердце мое билось спокойно, как у человека, который спит со спокойной совестью.

Я расхаживал с одного конца погреба на другой; я скрестил руки на груди и свободно прогуливался то там, то здесь. Полиция была вполне удовлетворена и приготовилась уходить.

Клокотавшая в груди моей радость была слишком сильна, чтобы я мог ее сдерживать. Я горел желанием сказать, торжествуя, по крайней мере, одно слово, только одно слово, чтобы вдвое усилить их убеждение в моей невинности.

«Господа, – сказал я наконец, когда отряд их стал опять подыматься по лестнице, – я очень рад, что успокоил ваши подозрения относительно меня. Я желаю всем вам доброго здоровья и рекомендовал бы вам побольше вежливости».

«Между прочим, будь сказано, господа, вот – вот дом, замечательно хорошо построенный, – возбужденный желанием сказать что-нибудь с непринужденным видом, я сам не знал, что говорил, – я могу сказать, этот дом построен восхитительно, эти стены, вы уже уходите, господа? – эти стены замечательно прочны!»

И тут, безумно издеваясь, я сильно ударил палкой, которую имел в руке, как раз по тому месту стены, внутри которой находился труп моей супруги.

Ах! Да спасет меня Бог и избавит от когтей дьявола! Едва звук моего удара раздался в окружавшем нас молчании, как из могилы ответил мне голос! – жалобный, сперва сдавленный и прерывающийся, как плач ребенка, затем вскоре выросший в непрерывный крик, звонкий, душу раздирающий, ненормальный и нечеловеческий, вой, визг, наполовину ужаса, наполовину торжества, – какой

My next step was to look for the beast which had been the cause of so much wretchedness; for I had, at length, firmly resolved to put it to death. Had I been able to meet with it, at the moment, there could have been no doubt of its fate; but it appeared that the crafty animal had been alarmed at the violence of my previous anger, and forebore to present itself in my present mood. It is impossible to describe, or to imagine, the deep, the blissful sense of relief which the absence of the detested creature occasioned in my bosom. It did not make its appearance during the night – and thus for one night at least, since its introduction into the house, I soundly and tranquilly slept; aye, slept even with the burden of murder upon my soul!

The second and the third day passed, and still my tormentor came not. Once again I breathed as a freeman. The monster, in terror, had fled the premises forever! I should behold it no more! My happiness was supreme! The guilt of my dark deed disturbed me but little. Some few inquiries had been made, but these had been readily answered. Even a search had been instituted – but of course nothing was to be discovered. I looked upon my future felicity as secured.

Upon the fourth day of the assassination, a party of the police came, very unexpectedly, into the house, and proceeded again to make rigorous investigation of the premises. Secure, however, in the inscrutability of my place of concealment, I felt no embarrassment whatever. The officers bade me accompany them in their search. They left no nook or corner unexplored. At length, for the third or fourth time, they descended into the cellar. I quivered not in a muscle. My heart beat calmly as that of one who slumbers in innocence. I walked the cellar from end to end. I folded my arms upon my bosom, and roamed easily to and fro. The police were thoroughly satisfied and prepared to depart. The glee at my heart was too strong to be restrained. I burned to say if but one word, by way of triumph, and to render doubly sure their assurance of my guiltlessness.

"Gentlemen," I said at last, as the party ascended the steps, "I delight to have allayed your suspicions. I wish you all health, and a little more courtesy. By the bye, gentlemen, this – this is a very well constructed house." [In the rabid desire to say something easily, I scarcely knew what informing voice had consigned me to the hangman. I had walled the monster up within the tomb! I uttered at all.] – "I may say an excellently well constructed house. These walls are you going, gentlemen? – these walls are solidly put together;" and here, through the mere phrenzy of bravado, I rapped heavily, with a cane which I held in my hand, upon that very portion of the brick-work behind which stood the corpse of the wife of my bosom.

может быть только в аду; ужасные звуки, исходящие одновременно из горла обреченных муче грешников и торжествующих своим падением дьяволов!

Объяснить вам, что я думал в эту минуту было бы безумием. Я чувствовал, что падаю, и оперся на противоположную стену. В течение минуты полицейские оставались неподвижно на ступеньках лестницы, одержимые ужасом. Но затем дюжина сильных рук с яростью уперлась в стену. Она упала моментально.

Уже большей частью истлевший и покрытый запекшейся кровью труп стоял перед глазами зрителей... На голове его, широко раскрыв красный рот и сверкая своим единственным глазом, сидело это отвратительное животное, чья хитрость довела меня до убийства и чьи завывания отдали меня в руки палача. Не заметив этого, я замуровал это чудовище в могилу!..

Пер. Илья Л.

Перевод опубликован в «Сибирской жизни», 1908, № 54 (16 марта). С. 2–3.

But may God shield and deliver me from the fangs of the Arch-Fiend!
No sooner had the reverberation of my blows sunk into silence, than I
was answered by a voice from within the tomb! – by a cry, at first muf-
fled and broken, like the sobbing of a child, and then quickly swelling
into one long, loud, and continuous scream, utterly anomalous and inhu-
man – a howl – a wailing shriek, half of horror and half of triumph, such
as might have arisen only out of hell, conjointly from the throats of the
dammèd in their agony and of the demons that exult in the damnation.

**

A Dream (1827)

In visions of the dark night
I have dreamed of joy departed
But a waking dream of life and light
Hath left me broken-hearted.

Ah! what is not a dream by day
To him whose eyes are cast
On things around him with a ray
Turned back upon the past?

That holy dream—that holy dream,
While all the world were chiding,
Hath cheered me as a lovely beam
A lonely spirit guiding.

What though that light, thro' storm and night,
So trembled from afar
What could there be more purely bright
In Truth's day-star?

<http://www.poetryfoundation.org/poem/174152>

Of my own thoughts it is folly to speak. Swooning, I staggered to the opposite wall. For one instant the party upon the stairs remained motionless, through extremity of terror and of awe. In the next, a dozen stout arms were toiling at the wall. It fell bodily. The corpse, already greatly decayed and clotted with gore, stood erect before the eyes of the spectators. Upon its head, with red extended mouth and solitary eye of fire, sat the hideous beast whose craft had seduced me into murder, and whose

<http://www.readbookonline.net/readOnLine/792/>

Сновидение

В счастливых грезах прошлых лет
Я темной ночью жил один,
Но жизни шум и утра свет
Нашли в душе печаль руин.

Но что и днем не сон для тех,
Чей взор вокруг блуждает здесь,
Чей взор одним лучом из всех,
Но погружен в прошедшем весь?

Священный сон, священный сон, –
Когда весь мир ко мне был глух,
Огнем манящим светел он
И вел мой одинокий дух!

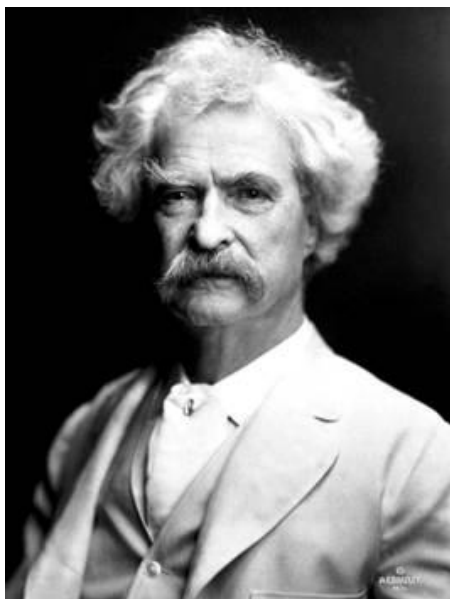
Пусть этот луч – свет бурь и туч,
Он блещет там везде,
В Познании есть ли ярче луч –
В его дневной звезде?

Иосиф Иванов

Перевод опубликован в «Сибирской жизни», 1911, № 281 (21 декабря). С. 3.

Литература

Горенинцева В.Н. Рецепция английской и американской литературы в томской периодике конца XIX – начала XX вв.: дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 2009. – 218 с.



Марк Твен
(Mark Twain, настоящее имя Samuel Langhorne Clemens,
1835–1910)

Марк Твен (Mark Twain, настоящее имя Samuel Langhorne Clemens, 1835–1910) – известный американский писатель и журналист, творчество которого пронизано тонким юмором, но при этом не лишено гуманистического пафоса и глубокой философской составляющей. Твену мастерски удавались как легкие юмористические зарисовки, так и очерки на острополитические темы. Признанный классик американской литературы, чьи произведения переведены на многие языки мира.

Критика

Марк Твен – один из самых упоминаемых американских писателей на страницах томской периодики. Газеты регулярно печатают материалы самого разнообразного характера, посвященные Твену в рубриках «Обо всем» и «Между прочим», в числе которых библиографическая заметка об историческом романе М. Твена «Жанна д'Арк» в газете «Сибирская жизнь» за 1902 г. Писатель-современник, чутко откликающийся на все, что происходит вокруг него, он вызывал неподдельный интерес окружающих. Некоторые видели в нем в первую очередь безобидного насмешника и создателя курьезных сюжетов. Более вдумчивые читатели за юмором и занимательностью могли почувствовать горький привкус сатиры, идущей от человека, действительно небезразличного к судьбе своей страны. Благодаря обилию разнохарактерной информации сам Марк Твен становится для сибирского читателя символом американской нации, ее «художественным воплощением», отражающим многогранность Америки.

Переводы

Всего в период с 1893 по 1907 г. вышло десять переводов, причем три из них – «Зуб», «Страница из расходной книжки супруга» и «Последние часы осужденного» – писателю на самом деле не принадлежали, хотя и были маркированы как переводы из Твена.

Анализ сибирских переводов из Твена демонстрирует, что наряду с «одомашниванием», призванным приблизить текст к социо-

культурным условиям восприятия, также прослеживается тенденция сохранить культурноспецифические особенности оригинала при переводе на русский язык.

В хрестоматию вошли 5 переводов из Твена, опубликованных на страницах томской периодики и маркированных как специально переведенные. В газете «Сибирский вестник» в 1893 г. был напечатан перевод рассказа «Дуэль Гамбетты» («The Recent Great French Duel», 1879), в 1895 г. появился рассказ «Роман эскимосской девушки» («Esquimaux Maiden's Romance», 1893) в переводе А. Михайловича, в 1896 г. – анонимный перевод «Журналистики в Теннесси» («Journalism in Tennessee», 1871). В свою очередь, рассказы «Счастье» («Luck», 1886) и «Молния» («Mrs. Mc Williams and The Lightning», 1880) были опубликованы в «Сибирской жизни» в 1905 и 1907 г. соответственно.

The Recent Great French Duel (1879)

Much as the modern French duel is ridiculed by certain smart people, it is in reality one of the most dangerous institutions of our day. Since it is always fought in the open air, the combatants are nearly sure to catch cold. M. Paul de Cassagnac, the most inveterate of the French duelists, had suffered so often in this way that he is at last a confirmed invalid; and the best physician in Paris has expressed the opinion that if he goes on dueling for fifteen or twenty years more—unless he forms the habit of fighting in a comfortable room where damps and draughts cannot intrude—he will eventually endanger his life. This ought to moderate the talk of those people who are so stubborn in maintaining that the French duel is the most health-giving of recreations because of the open-air exercise it affords. And it ought also to moderate that foolish talk about French duelists and socialist-hated monarchs being the only people who are immoral.

Публикации

1. Марк Твен о немецком языке // Сибирская жизнь. – 1897. – №246 (14 ноября). – С. 3.
2. Твен М. Жанна д'Арк (пер. с англ.) [рецензия] // Сибирская жизнь. – 1902. – №139 (28 июня). – С. 3.
3. Твен М. Дуэль Гамбетты (пер. с англ.) // Сибирский вестник. – 1893. – № 42. – 24 февр. – С. 2. пер. «К.В-ков».
4. Твен М. Журналистика в Теннесси (пер. с англ.) // Сибирский вестник. – 1896. – № 200 (13 сентября). – С. 2.
5. Твен М. Роман эскимосской девушки (пер.с англ.) // Сибирский вестник. – 1895. – № 77 (10 июля). – Прибавление. – С. 2–3; № 78 (11 июля). – Прибавление. – С. 2; № 80 (13 июля). – Прибавление. – С. 2.; № 82 (14 июля). – Прибавление. – С. 2–3. Пер. А. Михайловича.
6. Твен М. Счастье (пер.с франц.) // Сибирская жизнь. – 1905. – № 215 (23 ноября). – С. 2. Пер. «Е. Галка»
7. Твен М. Молния (пер.с англ.) // Сибирская жизнь. – 1907. – № 8 (9 января). – С. 2. Пер. «Е.Г.»

Дуэль Гамбетты

К французской дуэли относятся обыкновенно с какой-то насмешкой, а между тем, могу вас уверить, это самый опасный обычай нашего века! Ведь, надо принять во внимание, что дуэль обыкновенно происходит под открытым небом, невзирая на погоду, и что при таких условиях можно весьма легко схватить простуду. Самый известный дуэлист нашего времени, Поль де Касаньяк, так часто бывает жертвой последствий дуэли, что совсем уже расстроил свое здоровье, врачи грозят ему, что если он будет таким рьяным бретером, то в каких-нибудь пятнадцать, двадцать лет эти хронические простуды сведут его в могилу. Да, с дуэлью во Франции шутки плохи! Я расскажу об одной из них, в которой мне пришлось принять выдающееся участие.

Получив известие о том, что между Гамбеттой и Фурту произошло в кабинете министров какое-то весьма резкое столкновение, я сейчас же понял, что дуэль неизбежна. В продолжение многих лет

But it is time to get at my subject. As soon as I heard of the late fiery outbreak between M. Gambetta and M. Fourtou in the French Assembly, I knew that trouble must follow. I knew it because a long personal friendship with M. Gambetta revealed to me the desperate and implacable nature of the man. Vast as are his physical proportions, I knew that the thirst for revenge would penetrate to the remotest frontiers of his person.

I did not wait for him to call on me, but went at once to him. As I had expected, I found the brave fellow steeped in a profound French calm. I say French calm, because French calmness and English calmness have points of difference. He was moving swiftly back and forth among the debris of his furniture, now and then staving chance fragments of it across the room with his foot; grinding a constant grist of curses through his set teeth; and halting every little while to deposit another handful of his hair on the pile which he had been building of it on the table.

He threw his arms around my neck, bent me over his stomach to his breast, kissed me on both cheeks, hugged me four or five times, and then placed me in his own arm-chair. As soon as I had got well again, we began business at once.

I said I supposed he would wish me to act as his second, and he said, "Of course." I said I must be allowed to act under a French name, so that I might be shielded from obloquy in my country, in case of fatal results. He winced here, probably at the suggestion that dueling was not regarded with respect in America. However, he agreed to my requirement. This accounts for the fact that in all the newspaper reports M. Gambetta's second was apparently a Frenchman.

First, we drew up my principal's will. I insisted upon this, and stuck to my point. I said I had never heard of a man in his right mind going out to fight a duel without first making his will. He said he had never heard of a man in his right mind doing anything of the kind. When he had finished the will, he wished to proceed to a choice of his "last words." He wanted to know how the following words, as a dying exclamation, struck me:

"I die for my God, for my country, for freedom of speech, for progress, and the universal brotherhood of man!"

I objected that this would require too lingering a death; it was a good speech for a consumptive, but not suited to the exigencies of the field of honor. We wrangled over a good many ante-mortem outbursts, but I

я был дружен с Гамбеттой и хорошо знал его несдержанный, горячий нрав; знал, что в эту минуту сердце его пылает жадной мщени-
ей; вот почему я немедленно же отправился к нему и предложил свои
услуги в качестве секунданта. Я застал Гамбетту в полном француз-
ском спокойствии. (Должен объяснить, что «французское» спокой-
ствие – это нечто совершенно отличное от того, что мы привыкли
разуметь под словом *спокойствие*).

Гамбетта метался из стороны в сторону среди опрокинутых ве-
щей, обломков мебели и статуй, которые он отбрасывал ногой; ми-
нутами он приостанавливался и рвал на себе волосы.

Увидя меня, он бросился ко мне, схватил за шею и прижал к сво-
ему животу, по причине моего маленького роста он не мог прижать
меня к своему сердцу, – потом, облобызав, он бросил меня в кресло.
Придя в себя, я немедленно приступил к делу, по которому явился, и
объявил, что согласен быть его секундантом, но только, во избежа-
ние ответственности, назовусь на это время французским именем.
Этим и объясняется, почему в подробных отчетах о дуэли знамени-
того Гамбетты секундант его носит французское имя.

Затем мы стали обсуждать условия дуэли. Я уговаривал Гамбет-
ту сделать духовное завещание, не исполнить этого было бы боль-
шой непредусмотрительностью. Он согласился и, написав завеща-
ние, занялся составлением своей последней речи. «Я умираю за мою
религию, умираю за родину, за свободу слова, за прогресс и братст-
во!» – импровизировал Гамбетта. Мне показалось, что это будет не-
много длинновато для предсмертной агонии; чахоточный, пожалуй,
мог бы еще так говорить, но сраженный на поле чести... Гамбетта не
соглашался с этим, мы долго спорили и, наконец, остановились на
такой фразе: «Моя смерть для жизни Франции». Гамбетта записал ее
в свою памятную книжку. Я хотел было посоветоваться с ним отно-
сительно выбора оружия, но он был так взволнован, что положи-
тельно не в состоянии был сосредоточиться на этом вопросе и пре-
доставил все на мое личное усмотрение. Получив такие полномочия,
я написал письмо секунданту г. Фурту следующего содержания:

«М.г.! М-еиг Гамбетта принимает вызов m-еиг Фурту. Место ду-
эли – Плесси, оружие – шпаги, время – рано утром, при восходе
солнца.

Примите, м.г., и проч.
Марк Твен».

Через несколько минут ко мне вбегает секундант г. Фурту.

finally got him to cut his obituary down to this, which he copied into his memorandum-book, purposing to get it by heart:

"I die that France might live."

I said that this remark seemed to lack relevancy; but he said relevancy was a matter of no consequence in last words, what you wanted was thrill.

The next thing in order was the choice of weapons. My principal said he was not feeling well, and would leave that and the other details of the proposed meeting to me. Therefore I wrote the following note and carried it to M. Fourtou's friend:

Sir: M. Gambetta accepts M. Fourtou's challenge, and authorizes me to propose Plessis-Piquet as the place of meeting; tomorrow morning at daybreak as the time; and axes as the weapons.

I am, sir, with great respect,
Mark Twain.

M. Fourtou's friend read this note, and shuddered. Then he turned to me, and said, with a suggestion of severity in his tone:

"Have you considered, sir, what would be the inevitable result of such a meeting as this?"

"Well, for instance, what would it be?"

"Bloodshed!"

"That's about the size of it," I said. "Now, if it is a fair question, what was your side proposing to shed?"

I had him there. He saw he had made a blunder, so he hastened to explain it away. He said he had spoken jestingly. Then he added that he and his principal would enjoy axes, and indeed prefer them, but such weapons were barred by the French code, and so I must change my proposal.

I walked the floor, turning the thing over in my mind, and finally it occurred to me that Gatling-guns at fifteen paces would be a likely way to get a verdict on the field of honor. So I framed this idea into a proposition.

But it was not accepted. The code was in the way again. I proposed rifles; then double-barreled shotguns; then Colt's navy revolvers. These being all rejected, I reflected awhile, and sarcastically suggested brickbats at three-quarters of a mile. I always hate to fool away a humorous thing on a person who has no perception of humor; and it filled me with bitterness when this man went soberly away to submit the last proposition to his principal.

He came back presently and said his principal was charmed with the idea of brickbats at three-quarters of a mile, but must decline on account of the danger to disinterested parties passing between them. Then I said:

«Милостивый государь! Подозреваете ли вы, каков будет исход дуэли на предложенных вами условиях?» – грозно обратился он ко мне.

– Горю нетерпением узнать.

– Кровопролитие!

– Но, г. секундант, что же иное предполагали вы пролить во время дуэли?

Этот вопрос немного смутил его и он, желая выйти с честью из своего затруднения, заявил, что он шутил и что, конечно, шпаги были бы прекрасное оружие, если бы они не были запрещены французским кодексом: необходимо выбрать что-нибудь другое. Я перебрал в своей голове различные роды револьверов, двустольных ружей, винтовок, но ни на что не получил согласия. Я рассердился и предложил дуэль на кирпичах, расстояние три четверти мили. Каково было мое удивление, когда оказалось, что это мое последнее предложение принято секундантом и что он передаст его г. Фурту. Вскоре он возвратился с таким ответом: *mon* Фурту рад драться кирпичами на предложенном расстоянии, но так как такой род дуэли может быть опасен для посторонних лиц, которые могут в это время проходить, то он не может, к сожалению, принять этого предложения.

«Назначайте сами, я ничего уже более не могу придумать», – сказал я.

Секундант г. Фурту просил. Пошарив в своих карманах и бормоча «да куда же они девались?», он вытащил, наконец, из кармана жилета два крошечных и весьма изящных пистолетика с серебряной оправой; они походили скорее на брелоки, чем на смертельное орудие.

Я молча поглядел на них и затем привесил один из них к своей часовой цепочке. Г. секундант вынул вслед за этим из своего кармана два каких-то микроскопические предмета и подал один из них мне; это были заряды.

На мой вопрос, сколькими же выстрелами обменяются противники, я получил в ответ новую ссылку на французский кодекс, который не разрешает более одного выстрела.

Расстояние между противниками мой товарищ определил в 75 шагов. Ради приличия я настоял до уменьшения его хотя бы до 40 шагов. Секундант г. Фурту драматически произнес: «Я не буду виноват в этом кровопролитии, да падет оно на вашу голову!»

Определив все условия дуэли, которые мне казались унижительными, я со смущением явился к Гамбетте.

"Well, I am at the end of my string, now. Perhaps you would be good enough to suggest a weapon? Perhaps you have even had one in your mind all the time?"

His countenance brightened, and he said with alacrity:

"Oh, without doubt, monsieur!"

So he fell to hunting in his pockets – pocket after pocket, and he had plenty of them – muttering all the while, "Now, what could I have done with them?"

At last he was successful. He fished out of his vest pocket a couple of little things which I carried to the light and ascertained to be pistols. They were single-barreled and silver-mounted, and very dainty and pretty. I was not able to speak for emotion. I silently hung one of them on my watch-chain, and returned the other. My companion in crime now unrolled a postage-stamp containing several cartridges, and gave me one of them. I asked if he meant to signify by this that our men were to be allowed but one shot apiece. He replied that the French code permitted no more. I then begged him to go and suggest a distance, for my mind was growing weak and confused under the strain which had been put upon it. He named sixty-five yards. I nearly lost my patience. I said:

"Sixty-five yards, – with these instruments? Squirt-guns would be deadlier at fifty. Consider, my friend, you and I are banded together to destroy life, not make it eternal."

But with all my persuasions, all my arguments, I was only able to get him to reduce the distance to thirty-five yards; and even this concession he made with reluctance, and said with a sigh, "I wash my hands of this slaughter; on your head be it."

There was nothing for me but to go home to my old lion-heart and tell my humiliating story. When I entered, M. Gambetta was laying his last lock of hair upon the altar. He sprang toward me, exclaiming:

"You have made the fatal arrangements – I see it in your eye!"

"I have."

His face paled a trifle, and he leaned upon the table for support. He breathed thick and heavily for a moment or two, so tumultuous were his feelings; then he hoarsely whispered:

"The weapon, the weapon! Quick! what is the weapon?"

"This!" and I displayed that silver-mounted thing. He cast but one glance at it, then swooned ponderously to the floor.

When he came to, he said mournfully:

«Вижу по выражению вашего лица, что условия ужасны, – сказал он взволнованным голосом, бросаясь ко мне на встречу. – Говорите скорее, какое оружие вы выбрали?»

Я показал ему брелок в виде пистолета.

Он взглянул на него и без чувств упал на пол.

Вернувшись к сознанию, он произнес: «Мои нервы слишком напряглись от тех усилий, которые я сделал над собою, чтобы с полным и невозмутимым спокойствием выслушать роковую весть. Теперь я уже вполне овладел собой, долой слабость! Я встречу смерть, как человек, как француз!»

И он принял величественную позу и произнес голосом, преисполненным благородного достоинства: «Говорите все. Я спокоен. Каково состояние?»

– Сорок шагов.

Гамбетта снова упал в обморок. Я не мог приподнять его массивного тела и ограничился тем, что окатил его водой.

«Сорок шагов», – шептал он побледневшими губами.

И потом, приподняв голову, он продекламировал: «Я умру, и пусть все знают, что рыцарство во Франции еще не прошло и что герои в ней еще не перевелись!»

И он погрузился в раздумье.

«Какое время назначено для рокового выстрела?» – спросил он, наконец.

– Завтра, при восходе солнца.

Гамбетта взволновался.

«Но ведь в это время никого еще нет на улицах!» – воскликнул он.

– Вот потому-то мы и остановились на нем.

– Оставьте шутки. Идите к m-eur Фурту и назначьте более подходящее время для дуэли, более поздний час.

Я отправился к противнику Гамбетты, но на лестнице столкнулся с секундантом.

«M-eur Фурту не согласен на такой ранний час, – говорил он, запыхавшись. – Он требует непременно изменения времени».

Я поспешил согласиться. Он поблагодарил меня за такую любезность и, обратившись к кому-то, сказал: «Вы слышите, m-eur Нуар, дуэль в половине десятого, имейте это в виду».

«Благодарю за сообщение», – отвечал чей-то голос.

"The unnatural calm to which I have subjected myself has told upon my nerves. But away with weakness! I will confront my fate like a man and a Frenchman."

He rose to his feet, and assumed an attitude which for sublimity has never been approached by man, and has seldom been surpassed by statues. Then he said, in his deep bass tones:

"Behold, I am calm, I am ready; reveal to me the distance."

"Thirty-five yards." ...

I could not lift him up, of course; but I rolled him over, and poured water down his back. He presently came to, and said:

"Thirty-five yards--without a rest? But why ask? Since murder was that man's intention, why should he palter with small details? But mark you one thing: in my fall the world shall see how the chivalry of France meets death."

After a long silence he asked:

"Was nothing said about that man's family standing up with him, as an offset to my bulk? But no matter; I would not stoop to make such a suggestion; if he is not noble enough to suggest it himself, he is welcome to this advantage, which no honorable man would take."

He now sank into a sort of stupor of reflection, which lasted some minutes; after which he broke silence with:

"The hour--what is the hour fixed for the collision?"

"Dawn, tomorrow."

He seemed greatly surprised, and immediately said:

"Insanity! I never heard of such a thing. Nobody is abroad at such an hour."

"That is the reason I named it. Do you mean to say you want an audience?"

"It is no time to bandy words. I am astonished that M. Fourtou should ever have agreed to so strange an innovation. Go at once and require a later hour."

I ran downstairs, threw open the front door, and almost plunged into the arms of M. Fourtou's second. He said:

"I have the honor to say that my principal strenuously objects to the hour chosen, and begs you will consent to change it to half past nine."

"Any courtesy, sir, which it is in our power to extend is at the service of your excellent principal. We agree to the proposed change of time."

"I beg you to accept the thanks of my client." Then he turned to a person behind him, and said, "You hear, M. Noir, the hour is altered to half

– Ввиду высокого поста, который занимают противники и тех громких имен, которые они носят, я полагаю, что нельзя ограничиться, как обыкновенно принято, двумя врачами; необходимо пригласить несколько знаменитостей из медицинского персонала Парижа. Они явятся в собственных каретах, но вот о чем нам надо позаботиться, это – о катафалке. Думали вы об этом?

– Представьте себе, что нет. Я, вероятно, кажусь вам весьма нерасторопным и неловким, но, видите ли, я в первый раз участвую в такой торжественной дуэли.

Поговорив еще немного, мы распрощались.

«Дуэль назначена в половину десятого», – сказал я Гамбетте.

– Вы уж сообщили об этом в газетах?

«Послушайте, – с негодованием сказал я, – неужели вы считаете меня способным на такую низость?»

«Что вы, что вы! – успокаивал меня Гамбетта. – Простите, если я обидел вас. В самом деле, я слишком злоупотребляю вашей любезной услужливостью. Я напишу об этом сам репортеру Нуару. Мы с ним в отличных отношениях».

– Нуар уже знает о дуэли. Секундант Фурту сообщил ему об этом.

«Ах, этот Фурту! Никогда он не упустит случая, чтобы не популяризировать своего имени и не выставить себя на вид», – произнес Гамбетта.

На следующий день, ровно в половине десятого, мы приближались к месту дуэли.

Процессия была грандиозная; впереди в карете ехал я с Гамбеттой, вслед за нами Фурту со своим секундантом, затем следовали в своих экипажах ораторы, врачи, журналисты, репортеры, катафалки, наконец, целая толпа народу пешком, верхами, в экипажах.

Настоящий торжественный выезд.

Гамбетта ехал молча и только от времени до времени раскрывал свою записную книжку и твердил: «Моя смерть для жизни Франции».

Прибыв на место дуэли, мы отмерили определенное расстояние и указали места противникам.

«Я готов, – произнес Гамбетта глухим голосом, выпрямляясь при этом во весь свой рост. – Пусть заряжают оружие».

Мы зарядили хорошенькие брелоки. Затем я подошел к Гамбетте и к моей досаде увидел, что он совершенно растерялся. Я стал его ободрять:

past nine. "Whereupon M. Noir bowed, expressed his thanks, and went away. My accomplice continued:

"If agreeable to you, your chief surgeons and ours shall proceed to the field in the same carriage as is customary."

"It is entirely agreeable to me, and I am obliged to you for mentioning the surgeons, for I am afraid I should not have thought of them. How many shall I want? I supposed two or three will be enough?"

"Two is the customary number for each party. I refer to 'chief' surgeons; but considering the exalted positions occupied by our clients, it will be well and decorous that each of us appoint several consulting surgeons, from among the highest in the profession. These will come in their own private carriages. Have you engaged a hearse?"

"Bless my stupidity, I never thought of it!" I will attend to it right away. I must seem very ignorant to you; but you must try to overlook that, because I have never had any experience of such a swell duel as this before. I have had a good deal to do with duels on the Pacific coast, but I see now that they were crude affairs. A hearse – sho! we used to leave the elected lying around loose, and let anybody cord them up and cart them off that wanted to. Have you anything further to suggest?"

"Nothing, except that the head undertakers shall ride together, as is usual. The subordinates and mutes will go on foot, as is also usual. I will see you at eight o'clock in the morning, and we will then arrange the order of the procession. I have the honor to bid you a good day."

I returned to my client, who said, "Very well; at what hour is the engagement to begin?"

"Half past nine."

"Very good indeed.; Have you sent the fact to the newspapers?"

"Sir! If after our long and intimate friendship you can for a moment deem me capable of so base a treachery –"

"Tut, tut! What words are these, my dear friend? Have I wounded you? Ah, forgive me; I am overloading you with labor. Therefore go on with the other details, and drop this one from your list. The bloody-minded Fourtou will be sure to attend to it. Or I myself – yes, to make certain, I will drop a note to my journalistic friend, M. Noi r–"

"Oh, come to think of it, you may save yourself the trouble; that other second has informed M. Noir."

"H'm! I might have known it. It is just like that Fourtou, who always wants to make a display."

«Право, нам бояться нечего, опасность совсем не так велика, как вы воображаете. Примите во внимание размер оружия, расстояние, отделяющее вас от противника и густой туман, от которого почти совсем темно, к этому надо еще добавить, что один из противников близорук, а другой с одним только глазом и что французский кодекс запрещает обмениваться более чем одним выстрелом. Нет, смею вас уверить, исход дуэли не будет роковым. Надежда на то, что вы оба останетесь живы, очень велика и потому не падайте духом».

Слова мои, видимо, несколько успокоили неустрашимого Гамбетту: он выпрямился и громко сказал, протягивая руку: «Давайте оружие!»

Я вложил миниатюрный пистолет в его огромную руку.

Он вздрогнул.

«Я боюсь не смерти, а уродства», – прошептал он.

Я снова стал ободрять его. Он попросил меня не покидать его в эту тяжелую минуту и стать позади него.

Я направил его руку с пистолетом в ту сторону, где, по моим соображениям, (в тумане ничего нельзя было разглядеть) находится противник.

– Раз, два, три!

Раздались два щелчка, и в тот же момент на меня навалилось что-то грузное. Я не мог устоять на ногах и упал на землю.

«Моя смерть, – слышал я, несмотря на то, что был страшно ошеломлен случившимся. – Моя смерть для... для... чего, черт возьми?.. да, для жизни Франции», – прочувствованным и глухим голосом произнес Гамбетта. Врачи обступили Гамбетту и подвергли его самому тщательному осмотру. К общей радости, не было найдено ни одной царапины. Тогда оба противника, рыдая, упали в объятия друг другу. Это было зрелище и умилительное, и назидательное. Мы с секундантом также обнялись.

Врачи, журналисты, ораторы, полицейские, публика – все обнимались, плакали, ликовали, все сияло радостью. И я понял в тот момент, что быть героем французской дуэли – выше всего в мире.

Когда первые торжественные минуты прошли и волнение несколько стихло, обратили внимание и на меня и произвели медицинский осмотр моей особы. Повреждения оказались ужасными. Конец сломанного ребра уперся в легкое. Левая рука в двух местах была переломлена, а нос сплюснулся и походил на лепешку. Нельзя сказать, чтобы я выглядел красавцем. Ко мне подходили все те же жур-

At half past nine in the morning the procession approached the field of Plessis-Piquet in the following order: first came our carriage – nobody in it but M. Gambetta and myself; then a carriage containing M. Fourtou and his second; then a carriage containing two poet-orators who did not believe in God, and these had ms. funeral orations projecting from their breast pockets; then a carriage containing the head surgeons and their cases of instruments; then eight private carriages containing consulting surgeons; then a hack containing a coroner; then the two hearses; then a carriage containing the head undertakers; then a train of assistants and mutes on foot; and after these came plodding through the fog a long procession of camp followers, police, and citizens generally. It was a noble turnout, and would have made a fine display if we had had thinner weather.

There was no conversation. I spoke several times to my principal, but I judge he was not aware of it, for he always referred to his note-book and muttered absently, "I die that France might live."

"Arrived on the field, my fellow-second and I paced off the thirty-five yards, and then drew lots for choice of position. This latter was but an ornamental ceremony, for all the choices were alike in such weather. These preliminaries being ended, I went to my principal and asked him if he was ready. He spread himself out to his full width, and said in a stern voice, "Ready! Let the batteries be charged."

The loading process was done in the presence of duly constituted witnesses. We considered it best to perform this delicate service with the assistance of a lantern, on account of the state of the weather. We now placed our men.

At this point the police noticed that the public had massed themselves together on the right and left of the field; they therefore begged a delay, while they should put these poor people in a place of safety.

The request was granted.

The police having ordered the two multitudes to take positions behind the duelists, we were once more ready. The weather growing still more opaque, it was agreed between myself and the other second that before giving the fatal signal we should each deliver a loud whoop to enable the combatants to ascertain each other's whereabouts.

I now returned to my principal, and was distressed to observe that he had lost a good deal of his spirit. I tried my best to hearten him. I said, "Indeed, sir, things are not as bad as they seem. Considering the character of the weapons, the limited number of shots allowed, the generous dis

налисты, ораторы, репортеры и вся многочисленная публика и выражали мне свое беспредельное восхищение и участие, и говорили, что счастливы видеть это небывалое зрелище – человека, раненого на французской дуэли.

Я был торжественно возложен на катафалк и во главе всей пышной процессии доставлен в больницу. Вскоре я получил орден Почетного Легиона, – честь, избежать которую достается очень немногим.

В заключение этой правдивой истории я скажу только одно: отныне я охотно стану сто раз против французского дуэлиста, но никогда уж более не решусь быть позади его.

К. В-ков.

Перевод опубликован в «Сибирском вестнике», 1893, № 42 (15 февраля). С. 2–3.

tance, the impenetrable solidity of the fog, and the added fact that one of the combatants is one-eyed and the other cross-eyed and near-sighted, it seems to me that this conflict need not necessarily be fatal. There are chances that both of you may survive. Therefore, cheer up; do not be downhearted."

This speech had so good an effect that my principal immediately stretched forth his hand and said, "I am myself again; give me the weapon."

I laid it, all lonely and forlorn, in the center of the vast solitude of his palm. He gazed at it and shuddered. And still mournfully contemplating it, he murmured in a broken voice:

"Alas, it is not death I dread, but mutilation."

I heartened him once more, and with such success that he presently said, "Let the tragedy begin. Stand at my back; do not desert me in this solemn hour, my friend."

I gave him my promise. I now assisted him to point his pistol toward the spot where I judged his adversary to be standing, and cautioned him to listen well and further guide himself by my fellow-second's whoop. Then I propped myself against M. Gambetta's back, and raised a rousing "Whoop-ee!" This was answered from out the far distances of the fog, and I immediately shouted:

"One – two – three – fire!"

Two little sounds like spit! Spit! broke upon my ear, and in the same instant I was crushed to the earth under a mountain of flesh. Bruised as I was, I was still able to catch a faint accent from above, to this effect:

"I die for... for ... perdition take it, what is it I die for? ... oh, yes – France! I die that France may live!"

The surgeons swarmed around with their probes in their hands, and applied their microscopes to the whole area of M. Gambetta's person, with the happy result of finding nothing in the nature of a wound. Then a scene ensued which was in every way gratifying and inspiring.

The two gladiators fell upon each other's neck, with floods of proud and happy tears; that other second embraced me; the surgeons, the orators, the undertakers, the police, everybody embraced, everybody congratulated, everybody cried, and the whole atmosphere was filled with praise and with joy unspeakable.

It seems to me then that I would rather be a hero of a French duel than a crowned and sceptered monarch.

When the commotion had somewhat subsided, the body of surgeons held a consultation, and after a good deal of debate decided that with proper care and nursing there was reason to believe that I would survive my injuries. My internal hurts were deemed the most serious, since it was apparent that a broken rib had penetrated my left lung, and that many of my organs had been pressed out so far to one side or the other of where they belonged, that it was doubtful if they would ever learn to perform their functions in such remote and unaccustomed localities. They then set my left arm in two places, pulled my right hip into its socket again, and re-elevated my nose. I was an object of great interest, and even admiration; and many sincere and warm-hearted persons had themselves introduced to me, and said they were proud to know the only man who had been hurt in a French duel in forty years.

I was placed in an ambulance at the very head of the procession; and thus with gratifying 'eclat I was marched into Paris, the most conspicuous figure in that great spectacle, and deposited at the hospital.

The cross of the Legion of Honor has been conferred upon me. However, few escape that distinction.

Such is the true version of the most memorable private conflict of the age.

I have no complaints to make against any one. I acted for myself, and I can stand the consequences.

Without boasting, I think I may say I am not afraid to stand before a modern French duelist, but as long as I keep in my right mind I will never consent to stand behind one again.

<https://futureboy.us/twain/tramp/tramp08.html>

The Esquimaux Maiden's Romance (1893)

"Yes, I will tell you anything about my life that you would like to know, Mr. Twain," she said, in her soft voice, and letting her honest eyes rest placidly upon my face, "for it is kind and good of you to like me and care to know about me."

She had been absently scraping blubber-grease from her cheeks with a small bone-knife and transferring it to her fur sleeve, while she watched the Aurora Borealis swing its flaming streamers out of the sky and wash the lonely snow plain and the templed icebergs with the rich hues of the prism, a spectacle of almost intolerable splendour and beauty; but now she shook off her reverie and prepared to give me the humble little history I had asked for. She settled herself comfortably on the block of ice which we were using as a sofa, and I made ready to listen.

She was a beautiful creature. I speak from the Esquimaux point of view. Others would have thought her a trifle over-plump. She was just twenty years old, and was held to be by far the most bewitching girl in her tribe. Even now, in the open air, with her cumbersome and shapeless fur coat and trousers and boots and vast hood, the beauty of her face was at least apparent; but her figure had to be taken on trust. Among all the guests who came and went, I had seen no girl at her father's hospitable trough who could be called her equal. Yet she was not spoiled. She was sweet and natural and sincere, and if she was aware that she was a belle, there was nothing about her ways to show that she possessed that knowledge.

She had been my daily comrade for a week now, and the better I knew her the better I liked her. She had been tenderly and carefully brought up, in an atmosphere of singularly rare refinement for the polar regions, for her father was the most important man of his tribe and ranked at the top of Esquimaux civilisation. I made long dog-sledge trips across the mighty ice floes with Lasca--that was her name -- and found her company always pleasant and her conversation agreeable. I went fishing with her, but not in her perilous boat: I merely followed along on the ice and watched her strike her game with her fatally accurate spear. We went sealing together; several times I stood by while she and the family dug blubber from a stranded whale, and once I went part of the way when she was hunting a bear, but turned back before the finish, because at bottom I am afraid of bears.

Роман эскимосской девушки

I.

«Да! Я хочу вам рассказать, г. Твэн, кое-что из моей жизни такое, что доставит вам без сомнения настоящее удовольствие», – сказала она своим ласкающим голосом, остановив свои открытые, честные глаза на моем лице.

Говоря это, она рассеянно счищала костяным ножом китовый жир, который покрывал её щеки и лоснился на рукаве меховой одежды. В этот момент северное сияние осветило небо своими вспыхивающими лучами, заливая безграничную снежную пустыню и крутые ледяные утесы, переливавшиеся, как вершины причудливых замков, всеми роскошными цветами радуги. Вид был полон красоты и нестерпимого для глаз блеска.

Она стряхнула с себя обычную задумчивость и приготовилась рассказать мне свою скромную, маленькую историю, о которой я давно ее просил. Она постаралась поудобнее уместиться на ледяной глыбе, которая служила ей вместо софы, а я расположился слушать.

Это было чудное создание – само собой разумеется, с эскимосской точки зрения, другие же могут, пожалуй, увидеть в ней не более как обыкновенную толстенькую обезьянку. Ей было, по всей вероятности, лет двадцать, и в своем племени она считалась самой обворожительной девушкой. Но в эту минуту на открытом воздухе все изящество было скрыто меховыми одеждами. Я познакомился с ней в один из своих визитов в гостеприимный чум её отца и не видал ни одной девушки, которая могла бы сравняться с моей знакомкой. В ней положительно не было ничего несимпатичного. Она обладала мягким, открытым характером и если даже сознавала свою красоту, то это сознание нисколько не отражалось на её манерах.

В последнее время мы не расставались целую неделю, и я чем более узнавал ее, тем более начинал любить. Воспитана она была старательно, почти утонченно в исключительной обстановке для полярных стран, так как отец её, человек весьма уважаемый в своем племени, поистине стоял на самой высокой ступени эскимосской культуры. Я делал с Лаской – так было её имя – длинные путешествия по снежным равнинам на санях, запряженных собаками, и сознаюсь, что никогда не встречал лучшего общества и более деликатного обращения. Мы устраивали с ней рыбные ловли в её, нельзя сказать чтобы безопасном челноке, хотя, признаться, я с большим удоволь-

However, she was ready to begin her story, now, and this is what she said:

"Our tribe had always been used to wander about from place to place over the frozen seas, like the other tribes, but my father got tired of that, two years ago, and built this great mansion of frozen snow-blocks – look at it; it is seven feet high and three or four times as long as any of the others – and here we have stayed ever since. He was very proud of his house, and that was reasonable, for if you have examined it with care you must have noticed how much finer and completer it is than houses usually are. But if you have not, you must, for you will find it has luxurious appointments that are quite beyond the common. For instance, in that end of it which you have called the 'parlour,' the raised platform for the accommodation of guests and the family at meals is the largest you have ever seen in any house—is it not so?"

"Yes, you are quite right, Lasca; it is the largest; we have nothing resembling it in even the finest houses in the United States." This admission made her eyes sparkle with pride and pleasure. I noted that, and took my cue.

"I thought it must have surprised you," she said. "And another thing; it is bedded far deeper in furs than is usual; all kinds of furs—seal, sea-otter, silver-grey fox, bear, marten, sable--every kind of fur in profusion; and the same with the ice-block sleeping-benches along the walls which you call 'beds.' Are your platforms and sleeping-benches better provided at home?"

"Indeed, they are not, Lasca – they do not begin to be." That pleased her again. All she was thinking of was the number of furs her aesthetic father took the trouble to keep on hand, not their value. I could have told her that those masses of rich furs constituted wealth – or would in my country – but she would not have understood that; those were not the kind of things that ranked as riches with her people. I could have told her that the clothes she had on, or the every-day clothes of the commonest person about her, were worth twelve or fifteen hundred dollars, and that I was not acquainted with anybody at home who wore twelve-hundred dollar toilets to go fishing in; but she would not have understood it, so I said nothing. She resumed:

"And then the slop-tubs. We have two in the parlour, and two in the rest of the house. It is very seldom that one has two in the parlour. Have you two in the parlour at home?"

ствием бродил бы по берегу, покрытому льдом, и любовался тем, как она замечательно метко бьет добычу своим гарпуном. Много раз я оставался с ней в то время, когда она вместе с своей семьей вынимала жир из пойманных китов. Однажды даже я сопровождал ее на охоту на медведя, но я не дождался конца охоты, так как не люблю этих зверей.

Между тем она, наконец, начала свою историю и вот что мне рассказала:

«Наше племя бродило по снежным равнинам, подобно всем другим племенам. Но вот уже два года отец бросил бродячий род жизни и построил из льдин громадный дом, который пред вашими глазами. Посмотрите! Он целых семи футов в высоту и раза в три или четыре больше в длину. С тех пор мы всегда в нем живем! Отец очень доволен своим домом, и на это он имеет причины, потому что если и вы хорошенько посмотрите на него, то без сомнения убедитесь, что это самый великолепный дом во всем крае. Если вы не успели еще сделать этого, то поспешите – и вы даже снаружи найдете его роскошным помещением. Вот, например, в этом конце дома то, что вы называете гостиной, а вот высокая платформа столовой как для гостей, так и для семьи, и все это в таких размерах, каких вы еще, конечно, не видели. Не так ли?»

– Да, ваша правда, Ласка, это громаднейший дом, какого я еще не видал. Мы не имеем ничего подобного даже в лучших домах Соединенных Штатов.

Мои слова заставили заблестать её глаза восторгом и гордостью. Я унизил себя и возвысил ее.

«Я была уверена, что наш дом вас удивит, – сказала она. – Кроме того, наш постельный прибор из шкур гораздо мягче, чем у других. В нем есть меха разных сортов: тюленя, выдры, темно-бурой лисицы, медведя, куницы, соболя – всех их полное изобилие. Они разостланы даже по скамьям для сна, построенным из сплошных ледяных глыб и расположенным вдоль стен, – вы их называете постелями. А содержатся ли в таком же порядке ваши столовые и постели?»

– Нет, Ласка, они очень далеки от этого!

Мой ответ снова доставил ей удовольствие. Число шкур, которые её эстетик-отец хранил не ради их цены, а ради самого процесса хранения, – вот все, что могла вмещать её головка. Я мог бы разъяснить ей, что эта масса драгоценных мехов действительно составляет

The memory of those tubs made me gasp, but I recovered myself before she noticed, and said with effusion:

"Why, Lasca, it is a shame of me to expose my country, and you must not let it go further, for I am speaking to you in confidence; but I give you my word of honour that not even the richest man in the city of New York has two slop-tubs in his drawing-room."

She clapped her fur-clad hands in innocent delight, and exclaimed:

"Oh, but you cannot mean it, you cannot mean it!"

"Indeed, I am in earnest, dear. There is Vanderbilt. Vanderbilt is almost the richest man in the whole world. Now, if I were on my dying bed, I could say to you that not even he has two in his drawing-room. Why, he hasn't even one – I wish I may die in my tracks if it isn't true."

Her lovely eyes stood wide with amazement, and she said, slowly, and with a sort of awe in her voice:

"How strange – how incredible – one is not able to realise it. Is he penurious?"

"No – it isn't that. It isn't the expense he minds, but–er–well, you know, it would look like showing off. Yes, that is it, that is the idea; he is a plain man in his way, and shrinks from display." "Why, that humility is right enough," said Lasca, "if one does not carry it too far – but what does the place look like?"

"Well, necessarily it looks pretty barren and unfinished, but –"

"I should think so! I never heard anything like it. Is it a fine house-- that is, otherwise?"

"Pretty fine, yes. It is very well thought of."

The girl was silent awhile, and sat dreamily gnawing a candle-end, apparently trying to think the thing out. At last she gave her head a little toss and spoke out her opinion with decision:

'Well, to my mind there's a breed of humility which is itself a species of showing off when you get down to the marrow of it; and when a man is able to afford two slop-tubs in his parlour, and doesn't do it, it may be that he is truly humble-minded, but it's a hundred times more likely that he is just trying to strike the public eye. In my judgment, your Mr. Vanderbilt knows what he is about.'

I tried to modify this verdict, feeling that a double slop-tub standard was not a fair one to try everybody by, although a sound enough one in its own habitat; but the girl's head was set, and she was not to be persuaded. Presently she said:

или, лучше сказать, составила бы в наших странах огромное богатство, но она не поняла бы, конечно, меня! Я мог бы сказать ей, что одежды, которые носит она, и даже будничные одежды самой скромной эскимосской девушки, стоят 1200–1500 долларов, и что я не знал ни одной женщины в своей стране, которая, отправляясь на рыбную ловлю, надевала бы на себя туалет в 1200 долларов. Но это было бы ей непонятно еще более, поэтому я не сказал ей ничего.

Она продолжала:

– А корыта для питья? Мы имеем два в гостиной и два в остальном доме. Это у нас редкость, когда имеют два корыта в гостиной. А в ваших гостиных также по два корыта?

– Видите ли, Ласка, мне стыдно, что я унижаю свою родину, и вы не должны допускать меня до этого, потому что я слишком откровенен. Но даю честное слово, что даже первый богач Нью-Йорка не имеет двух корыт для питья в своей гостиной.

В восторге она захлопала в ладоши и вскричала: «Нет! Вы не можете, не имеете права утверждать этого!»

– Правда! Я говорю серьезно, моя милая! Так даже у Вандербилта. А Вандербилт – богатейший человек в целом свете. Пусть я умру, если он имеет два корыта в своей гостиной. Даже гораздо более! Он не имеет и одного! Не сойти мне с места, если я сказал неправду!

Её прелестные глаза расширились от удивления и она тихо, даже с некоторой долей ужаса проговорила: «Это странно! Невероятно! И положительно нельзя понять этого! Разве он так скуп?»

– Нет! Этого сказать нельзя! Не расходы озабочивают его, но... знаете ли... Это было бы с его стороны в некотором роде тщеславием. Да! Именно так! Вот истинный мотив. Он человек совершенно простой в образе жизни и не желающий чем-либо бросаться в глаза.

«Пусть будет так! Смирение – вещь хорошая, – сказала Ласка, – если оно не заходит слишком далеко. Но что же в таком случае представляет его дом?»

– Ну, конечно, он кажется немножко пустым, не обставленным...

– А я, признаться, так и думала! Подобного же я никогда ничего не слыхала. Ну а дом этот красив?

– Да, довольно красив! Думают даже, что он очень красив.

Девушка молчала, вся погрузившись в свои мысли и отгрызая понемногу от кончика сальной свечки. Она видимо старалась уяснить себе что-то.

"Do the rich people, with you, have as good sleeping-benches as ours, and made out of as nice broad ice-blocks?"

"Well, they are pretty good – good enough– but they are not made of ice-blocks."

"I want to know! Why aren't they made of ice-blocks?"

I explained the difficulties in the way, and the expensiveness of ice in a country where you have to keep a sharp eye on your ice-man or your ice-bill will weigh more than your ice. Then she cried out:

"Dear me, do you buy your ice?"

"We most surely do, dear."

She burst into a gale of guileless laughter, and said:

"Oh, I never heard of anything so silly! My! there's plenty of it – it isn't worth anything. Why, there is a hundred miles of it in sight, right now. I wouldn't give a fish-bladder for the whole of it."

"Well, it's because you don't know how to value it, you little provincial muggings. If you had it in New York in midsummer, you could buy all the whales in the market with it."

She looked at me doubtfully, and said:

"Are you speaking true?"

"Absolutely. I take my oath to it."

This made her thoughtful. Presently she said, with a little sigh:

"I wish I could live there."

I had merely meant to furnish her a standard of values which she could understand; but my purpose had miscarried. I had only given her the impression that whales were cheap and plenty in New York, and set her mouth to watering for them. It seemed best to try to mitigate the evil which I had done, so I said:

"But you wouldn't care for whale-meat if you lived there. Nobody does."

"What!"

"Indeed they don't."

"Why don't they?"

"Well-l-l, I hardly know. It's prejudice, I think. Yes, that is it – just prejudice. I reckon somebody that hadn't anything better to do started a prejudice against it, some time or other, and once you get a caprice like that fairly going, you know it will last no end of time."

"That is true – perfectly true," said the girl, reflectively. "Like our prejudice against soap, here--our tribes had a prejudice against soap at first, you know."

Но вот она быстро тряхнула головой и смело заявила свое мнение.

«Хорошо, – сказала она, – но мне кажется, что в этом виде смирения есть уже частица тщеславия, если посмотреть в корень вещей. Возможно, что человек, обладая средствами настолько, чтобы иметь два корыта для питья в своем салоне, не имеет их на самом деле по своей скромности. Но сто раз чаще бывает заметно в подобных случаях желание броситься этим в глаза всем и каждому. По-моему мнению, ваш Вандербилт ни более, ни менее, как только человек, который умеет показать себя с выгодной стороны».

Я пытался смягчить этот приговор, хорошо сознавая, что случая с двойным числом корыт для питья совершенно недостаточно для произнесения заключения, хотя бы действительно все было именно так, а не иначе. Но девуцу, забравшую в голову свою *idée fixe*, невозможно было убедить. Она продолжала:

– А что же, богатые люди имеют у вас приличные скамьи для спанья, примерно как у нас, из красивых и широких льдин?

– Да, у них есть приличные, даже довольно приличные скамьи, но они не из льдин...

– Я желала бы знать, отчего же они не приготавливаются из ледяных глыб?

Я объяснил ей все затруднения, какие это представляет, и дороговизну льда у нас.

– Боже мой! Неужели вы покупаете лед?

– Даже очень дорого, моя милая!

Она разразилась громким, неудержимым хохотом.

«Ах, я ничего никогда не слыхала более комичного, – говорила она, продолжая хохотать. – Здесь его очень много, и он не стоит ничего. Посмотрите, вы можете видеть сотни тысяч льдин и можете брать их сколько угодно. А я бы даже не дала за все это обыкновенной рыбой косточки».

– Да, потому что вы не знаете цены этому, вы и все другие обитатели этих мест. А если бы вы имели все это в Нью-Йорке в середине лета, то вы могли бы приобрести в обмен за льдинку всех китов на целом базаре.

Она сомнительно посмотрела на меня и спросила:

– Вы говорите правду?

– Совершенную, я вам клянусь!

I glanced at her to see if she was in earnest. Evidently she was. I hesitated, then said, cautiously:

"But pardon me. They had a prejudice against soap? Had?" – with falling inflection.

"Yes – but that was only at first; nobody would eat it."

"Oh – I understand. I didn't get your idea before."

She resumed:

"It was just a prejudice. The first time soap came here from the foreigners, nobody liked it; but as soon as it got to be fashionable, everybody liked it, and now everybody has it that can afford it. Are you fond of it?"

"Yes, indeed; I should die if I couldn't have it – especially here. Do you like it?"

"I just adore it! Do you like candles?"

"I regard them as an absolute necessity. Are you fond of them?"

Her eyes fairly danced, and she exclaimed:

"Oh! Don't mention it! Candles! – and soap! – "

"And fish-interiors! – "

"And train-oil – "

"And slush! – "

"And whale-blubber! –"

"And carrion! and sour-kROUT! and beeswax! and tar! and turpentine! and molasses! and – "

"Don't – oh, don't – I shall expire with ecstasy! –"

"And then serve it all up in a slush-bucket, and invite the neighbours and sail in!"

But this vision of an ideal feast was too much for her, and she swooned away, poor thing. I rubbed snow in her face and brought her to, and after a while got her excitement cooled down. By-and-by she drifted into her story again:

"So we began to live here in the fine house. But I was not happy. The reason was this: I was born for love: for me there could be no true happiness without it. I wanted to be loved for myself alone. I wanted an idol, and I wanted to be my idol's idol; nothing less than mutual idolatry would satisfy my fervent nature. I had suitors in plenty – in over-plenty, indeed – but in each and every case they had a fatal defect: sooner or later I discovered that defect – not one of them failed to betray it--it was not me they wanted, but my wealth."

"Your wealth?"

Она сначала задумалась, но потом, прищурив от удовольствия глазки, проговорила: «Ах! Как я желала бы пожить там!»

Я желал дать ей простой пример ценности, чтобы она могла понять, но мое намерение было безуспешно. Я сумел в ней только поселить убеждение, что в Нью-Йорке в изобилии водятся киты и очень хорошего улова. Чтобы ослабить этот неожиданный результат я сказал:

– Но если вы будете жить там, вы бы не знали, что вам делать с китовым мясом! Никто его там не употребляет!

– Почему?

– Так, не обращают там на него внимания.

– Отчего же?

– Многого я не знаю! Мне кажется, что это предрассудок. Должно быть, в один прекрасный день, кто-нибудь, кому нечего было делать, придумал предрассудок против китового мяса. А в таких вещах, знаете, стоит только начать, и не знаешь, до чего можно дойти.

«Это верно, совершенно верно! – ответила девушка после минутного раздумья. – Это все равно, как наше предубеждение против мыла. Вы знаете, вначале наше племя имело предубеждение против мыла?»

Я в изумлении смотрел на нее, желая узнать, серьезно ли она говорит. Но, по-видимому, не могло быть в этом никакого сомнения. Замявшись немного, я потом с осторожностью сказал ей: «Извините, Ласка! Вы говорите, у вас был предрассудок против мыла?» «Был?» – прибавил я, ударяя на последнем слове.

– Да, но только вначале. Никто не желал его есть.

– Ах, да! Я понимаю! Я не мог сразу уловить вашей мысли.

Она отвечала:

– Это не был даже и предрассудок. А так, что-то... Когда в первый раз иностранцы привезли сюда мыло, никто не хотел его брать; но лишь только оно вошло в моду, все положительно влюбилось в него, и теперь все, кто имеет возможность, кушают его. А любите ли вы мыло?

– Да, очень! Я умер бы, если бы его не было, особенно в здешних краях. И вы также любите его?

– Ах! Я обожаю его! А вы любите сальные свечки?

– Я смотрю на них, как на свою существенную потребность! Вы их тоже любите?

– Ах! Не говорите! Сальные свечки! Мыло!

Yes; for my father is much the richest man in this tribe – or in any tribe in these regions."

I wondered what her father's wealth consisted of. It couldn't be the house – anybody could build its mate. It couldn't be the furs – they were not valued. It couldn't be the sledge, the dogs, the harpoons, the boat, the bone fish-hooks and needles, and such things – no, these were not wealth. Then what could it be that made this man so rich and brought this swarm of sordid suitors to his house? It seemed to me, finally, that the best way to find out would be to ask. So I did it. The girl was so manifestly gratified by the question that I saw she had been aching to have me ask it. She was suffering fully as much to tell as I was to know. She snuggled confidentially up to me and said:

"Guess how much he is worth – you never can!"

I pretended to consider the matter deeply, she watching my anxious and labouring countenance with a devouring and delighted interest; and when, at last, I gave it up and begged her to appease my longing by telling me herself how much this polar Vanderbilt was worth, she put her mouth close to my ear and whispered, impressively:

"Twenty-two fish-hooks – not bone, but foreign--made out of real iron!"

Then she sprang back dramatically, to observe the effect. I did my level best not to disappoint her. I turned pale and murmured:

"Great Scott!"

"It's as true as you live, Mr. Twain!"

"Lasca, you are deceiving me--you cannot mean it."

She was frightened and troubled. She exclaimed:

"Mr. Twain, every word of it is true – every word. You believe me--you do believe me, now don't you? Say you believe me – do say you believe me!"

"I – well, yes, I do – I am trying to. But it was all so sudden. So sudden and prostrating. You shouldn't do such a thing in that sudden way. It –"

"Oh, I'm so sorry! If I had only thought –"

"Well, it's all right, and I don't blame you any more, for you are young and thoughtless, and of course you couldn't foresee what an effect –"

But oh, dear, I ought certainly to have known better. Why –"

"You see, Lasca, if you had said five or six hooks, to start with, and then gradually –"

"Oh, I see, I see – then gradually added one, and then two, and then – ah, why couldn't I have thought of that!"

– А рыбы кишки!
– А ворвань!
– А жир кашалота!
– А китовое сало!
– А гнилое мясо! Кислая капуста! Пчелиный воск! Смола! Скипидар! Патока!..
– Нет! Ах, нет! Не говорите этого, я умираю!
– И потом, сложив все это в кадку с ворванью, пригласить соседей...

Но такая картина пиршества была слишком сильна для её нервов. Она лишилась чувств, бедная девочка! Я принялся крепко тереть ей виски снегом, чтобы привести ее в чувство, и мало-помалу припадок прошел. Я сумел осторожно снова перейти на её историю.

«Итак, мы начали жить в этом красивом доме, – начала она. – Но я не была счастлива, и вот почему: меня никто не любил, а я без любви не могла себе представить истинного счастья. Я желала быть любимой только ради меня самой. Я должна быть его кумиром точно так же, как и он был бы лучшим из моих кумиров. Только взаимная страстная любовь может удовлетворить мою горячую натуру. У меня было много вздыхателей, даже очень много! Но все они имели один непростительный недостаток, так что я всегда рано или поздно кончала с ними. Среди них не было ни одного искреннего. Каждый из них желал не меня, а моего богатства».

– Вашего богатства?

– Да! Мой отец самый богатый человек среди нашего племени и даже, пожалуй, среди всех племен страны.

Я спросил ее с изумлением, не зная, из чего могло состоять это особенное богатство её отца. Очевидно – не из дома, потому что всякий может построить себе такой же дом, а равно и не из мехов, так как они не знали им цены. Ни лодки, ни собаки, ни крючки или иголки из рыбьих костей, ни другие подобные вещи – все это также не составляло богатства. Тогда что же это такое могло делать этого человека столь богатым и привлекать в его дом такое множество жадных претендентов? В конце концов, я решил, что самое лучшее средство разузнать все это – спросить ее саму. Так я и сделал. Девушка, казалось, была бесконечно счастлива от моего вопроса. Я видел, что она говорила лишь только для того, чтобы заставить меня спросить ее об этом. Она была так занята ответом, что я заранее предвидел его. Она села ближе ко мне и доверчиво сказала.

"Never mind, child, it's all right – I am better now – I shall be over it in a little while. But – to spring the whole twenty-two on a person unprepared and not very strong anyway –"

"Oh, it was a crime! But you forgive me--say you forgive me. Do!"

After harvesting a good deal of very pleasant coaxing and petting and persuading, I forgave her and she was happy again, and by-and-by she got under way with her narrative once more. I presently discovered that the family treasury contained still another feature—a jewel of some sort, apparently – and that she was trying to get around speaking squarely about it, lest I get paralysed again. But I wanted to know about that thing, too, and urged her to tell me what it was. She was afraid. But I insisted, and said I would brace myself this time and be prepared, then the shock would not hurt me. She was full of misgivings, but the temptation to reveal that marvel to me and enjoy my astonishment and admiration was too strong for her, and she confessed that she had it on her person, and said that if I was sure I was prepared – and so on and so on –and with that she reached into her bosom and brought out a battered square of brass, watching my eye anxiously the while. I fell over against her in a quite well-acted faint, which delighted her heart and nearly frightened it out of her, too, at the same time. When I came to and got calm, she was eager to know what I thought of her jewel.

"What do I think of it? I think it is the most exquisite thing I ever saw."

"Do you really? How nice of you to say that! But it is a love, now isn't it?"

"Well, I should say so! I'd rather own it than the equator."

"I thought you would admire it," she said. "I think it is so lovely. And there isn't another one in all these latitudes. People have come all the way from the open Polar Sea to look at it. Did you ever see one before?"

I said no, this was the first one I had ever seen. It cost me a pang to tell that generous lie, for I had seen a million of them in my time, this humble jewel of hers being nothing but a battered old New York Central baggage check.

"Land!" said I, "you don't go about with it on your person this way, alone and with no protection, not even a dog?"

"Ssh! not so loud," she said. "Nobody knows I carry it with me. They think it is in papa's treasury. That is where it generally is."

"Where is the treasury?"

It was a blunt question, and for a moment she looked startled and a little suspicious, but I said:

– А угадайте, какое у него богатство? Нет, вам не угадать!

Я сделал вид, что глубоко занят этим, между тем как она рассматривала мое старательно-напряженное лицо с радостным видом. И, наконец, когда я ответил, что собаки, я умолил Ласку положить конец моим мучениям и сказать мне, в чем же заключалось богатство этого полярного Вандербилта. Она приложила свои губы к самому моему уху и прошептала:

– Двадцать крючков! Не костяных, но иностранных, настоящих стальных крючков!

Она мелодраматически откинулась назад, наблюдая, какой эффект произведет её сообщение. Я употребил все усилия, чтобы не обмануть её ожидания. Я побледнел и вздохнул:

– Справедливое небо!

– Это верно! Так же верно, как вот то, что я живу, господин Твэн!

– Ласка, вы меня обманываете! Вы не можете рассказать мне это...

Она страшно была этим обеспокоена и положительно тряслась.

«Господин Твэн, – вскричала она, – все то, что я вам сказала, – правда, каждое слово, каждый звук!.. Поверьте мне, прошу вас, поверьте! Ах, скажите же, что вы мне верите, скажите!..»

– Я... Пусть будет так! Да, я... попробую вам верить. Но это так неожиданно, так поразительно! Вы не должны были делать это так скоро. Это... Ах, что же это я себе противоречу... Если бы только я мог поверить!.. Нет, хорошо! Я более не хочу этого, потому что вы так молоды и неопытны, вы, конечно, не могли предвидеть всего эффекта.

– Да, господин Твэн, мой милый г-н Твэн, я, конечно, должна была знать более? Но как?

– Вы понимаете, Ласка, если бы вы сказали сначала пять или шесть, а потом шли бы постепенно...

– Да, я понимаю! Если бы я прибавляла по одному, потом по два и так далее... Ах! Зачем не пришло это мне в голову раньше?

– Ничего, мое дитя. Все будет хорошо! Я в эту минуту чувствую себя уже лучше, а вперед этого более не повторится. Но сразу бросить в лицо человеку целых двадцать крючков, человеку, который этого не ожидал и который уже не настолько бодр!..

– Ах! Это моя вина! Но вы меня извините! Скажите, что вы меня простите, я вас прошу.

"Oh, come, don't you be afraid about me. At home we have seventy millions of people, and although I say it myself that shouldn't, there is not one person among them all but would trust me with untold fish-hooks."

This reassured her, and she told me where the hooks were hidden in the house. Then she wandered from her course to brag a little about the size of the sheets of transparent ice that formed the windows of the mansion, and asked me if I had ever seen their like at home, and I came right out frankly and confessed that I hadn't, which pleased her more than she could find words to dress her gratification in. It was so easy to please her, and such a pleasure to do it, that I went on and said –

"Ah, Lasca, you are a fortune girl! – this beautiful house, this dainty jewel, that rich treasure, all this elegant snow, and sumptuous icebergs and limitless sterility, and public bears and walruses, and noble freedom and largeness and everybody's admiring eyes upon you, and everybody's homage and respect at your command without the asking; young, rich, beautiful, sought, courted, envied, not a requirement unsatisfied, not a desire ungratified, nothing to wish for that you cannot have – it is immeasurable good-fortune! I have seen myriads of girls, but none of whom these extraordinary things could be truthfully said but you alone. And you are worthy – worthy of it all, Lasca – I believe it in my heart."

It made her infinitely proud and happy to hear me say this, and she thanked me over and over again for that closing remark, and her voice and eyes showed that she was touched. Presently she said:

"Still, it is not all sunshine – there is a cloudy side. The burden of wealth is a heavy one to bear. Sometimes I have doubted if it were not better to be poor – at least not inordinately rich. It pains me to see neighbouring tribesmen stare as they pass by, and overhear them say, reverently, one to another, "There – that is she – the millionaire's daughter!" And sometimes they say sorrowfully, "She is rolling in fish-hooks, and I – I have nothing." It breaks my heart. When I was a child and we were poor, we slept with the door open, if we chose, but now – now we have to have a night-watchman. In those days my father was gentle and courteous to all; but now he is austere and haughty and cannot abide familiarity. Once his family were his sole thought, but now he goes about thinking of his fish-hooks all the time. And his wealth makes everybody cringing and obsequious to him. Formerly nobody laughed at his jokes, they being always stale and far-fetched and poor, and destitute of the one element that can really justify a joke – the element of humour; but now everybody laughs and cackles at these dismal things, and if any fails to do it my fa-

После многочисленных просьб, очаровательных ласк и убеждений, я простил ей; развеселившись, она снова вернулась к своей истории. Я понял, что в фамильной сокровищнице хранилось еще что-то, и что она старалась подготовить меня к этому посредством всевозможных уловок и обходов, боясь, как бы я опять не лишился чувств. Но я хотел узнать, в чем дело, и убеждал ее посвятить меня в эту тайну. Она испугалась, я настаивал. Я сказал, что на этот раз одену грудь свою броней, и удар не причинит мне никакого вреда. Она, видимо, не доверяла мне, но искушение похвастаться своим сокровищем и насладиться моим восторгом и удивлением было слишком велико...

Она призналась, что носит это на себе. Потом осведомилась, достаточно ли я подготовлен и т.д. Наконец, она сняла с груди и показала мне маленький четырехугольный кусочек кованого железа, все время не переставая зорко и с любопытством наблюдать за мной. Я сделал вид, что не могу усидеть на месте, и откинулся к ней на плечо. Это было разыграно так удачно, что её доброе маленькое сердечко забилося от радости и испуга. Когда я пришел в себя и успокоился, она стала допытываться, что я думаю об этой игрушке.

– Что я думаю о ней? Я думаю, что это самая изящная вещица, какую я когда-либо видел.

– В самом деле, вы так думаете? Как это мило с вашей стороны! Не правда ли, это прелесть?

– Именно прелесть, я только что хотел это сказать. Я предпочел бы эту вещицу... даже экватору.

– О! я была совершенно уверена в том, что вы удивитесь, – сказала она. Такая восхитительная вещь! Ведь другой подобной вещи нет ни у кого более, по крайней мере, в наших странах. К нам приходили любоваться ею с далеких берегов Полярного моря. А вы видели раньше что-нибудь подобное?

Я постарался уверить ее, что не видал ничего такого. Солгать, хотя и было благочестиво, но далеко не так легко: я видал тысячи подобных драгоценностей, так как эта драгоценность была не что иное, как багажная этикетка с линии нью-йоркской центральной железной дороги.

«Боже мой! И вы носите эту драгоценность с собой и даже выходите с ней, без защиты, без собаки!» – сказал я, состроив удивленную физиономию.

ther is deeply displeased, and shows it. Formerly his opinion was not sought upon any matter and was not valuable when he volunteered it; it has that infirmity yet, but, nevertheless, it is sought by all and applauded by all – and he helps do the applauding himself, having no true delicacy and a plentiful want of tact. He has lowered the tone of all our tribe. Once they were a frank and manly race, now they are measly hypocrites, and sodden with servility. In my heart of hearts I hate all the ways of millionaires! Our tribe was once plain, simple folk, and content with the bone fish-hooks of their fathers; now they are eaten up with avarice and would sacrifice every sentiment of honour and honesty to possess themselves of the debasing iron fish-hooks of the foreigner. However, I must not dwell on these sad things. As I have said, it was my dream to be loved for myself alone.

"At last, this dream seemed about to be fulfilled. A stranger came by, one day, who said his name was Kalula. I told him my name, and he said he loved me. My heart gave a great bound of gratitude and pleasure, for I had loved him at sight, and now I said so. He took me to his breast and said he would not wish to be happier than he was now. We went strolling together far over the ice-floes, telling all about each other, and planning, oh, the loveliest future! When we were tired at last we sat down and ate, for he had soap and candles and I had brought along some blubber. We were hungry and nothing was ever so good."

"He belonged to a tribe whose haunts were far to the north, and I found that he had never heard of my father, which rejoiced me exceedingly. I mean he had heard of the millionaire, but had never heard his name—so, you see, he could not know that I was the heiress. You may be sure that I did not tell him. I was loved for myself at last, and was satisfied. I was so happy – oh, happier than you can think!"

"By-and-by it was towards supper time, and I led him home. As we approached our house he was amazed, and cried out:

"How splendid! Is that your father's?"

"It gave me a pang to hear that tone and see that admiring light in his eye, but the feeling quickly passed away, for I loved him so, and he looked so handsome and noble. All my family of aunts and uncles and cousins were pleased with him, and many guests were called in, and the house was shut up tight and the rag lamps lighted, and when everything was hot and comfortable and suffocating, we began a joyous feast in celebration of my betrothal."

«Тише... Не так громко! – прошептала она. – Никто не знает, что я унесла ее с собой! Они думают, что эта прелестная вещичка лежит себе спокойно в отцовской шкатулке, на своем обычном месте».

– А где же эта шкатулка?

Вопрос был довольно-таки смел. Она остановилась, с минуту посмотрела на меня с небольшой долей сомнения, но я тотчас же прибавил: «Ах, пожалуйста, не бойтесь меня. В нашей стране – хотя мне этого и не следовало бы говорить – шестьдесят миллионов жителей, и среди них не найдется ни одного, кто побоялся бы доверить мне крючки, о которых мы говорим».

Она окончательно успокоилась и открыла место, где лежат крючки в отцовском доме. А через минуту уже снова принялась хвастаться величиной прозрачных льдин в окнах отцовского дома и на сей раз даже не спросила, видал ли я что-либо подобное. Я уже сам и вполне искренно сознался, что я никогда не видал таких окон. Это привело ее в такой восторг, что она положительно лишилась способности выразить охватившие её чувства. Сознаться в незнании для меня было так легко, а для неё приятно так, что я даже рискнул сказать ей: «Ах, Ласка, вы счастливая девушка. Великолепный дом, драгоценные вещи, богатая сокровищница, блестящие ледники, бесконечная даль, свобода, положение, глаза всех с восторгом останавливаются на вас, все готовы повергнуть к вашим ногам свое уважение и любовь. Вы молоды, богаты, красивы, любимы, пред вами преклоняются, вам завидуют, вы не знаете нужды, ни одно из ваших желаний не остается неудовлетворенным, да у вас и нет невозможных желаний. Ведь это бесконечное, безмерное счастье! Я видал тысячи молодых девушек, но не видал ни одной, кроме вас, о которой можно было, не задумываясь, сказать это! Да! И вы всего достойны, Ласка! Я чувствую это всем сердцем!»

Она просияла при моих словах от восторга и радости. Бесконечное число раз она благодарила меня за мои слова, и её голос и глаза ясно говорили, до какой степени она была взволнована. Тем не менее она возразила:

– Да, но не всегда сияет солнышко, бывают ведь и сумерки! Богатство – тяжелое бремя! Иногда я спрашиваю себя, не лучше ли уже быть бедной или, во всяком случае, менее богатой! Я положительно несу наказание, когда вижу своих соседей, какими глазами они провожают меня, когда я прохожу мимо, и как они завистливо перешептываются потом между собой: «Вот! Вот, дочь богача!» И тотчас же,

"When the feast was over my father's vanity overcame him, and he could not resist the temptation to show off his riches and let Kalula see what grand good-fortune he had stumbled into—and mainly, of course, he wanted to enjoy the poor man's amazement. I could have cried – but it would have done no good to try to dissuade my father, so I said nothing, but merely sat there and suffered."

"My father went straight to the hiding-place in full sight of everybody, and got out the fish-hooks and brought them and flung them scatteringly over my head, so that they fell in glittering confusion on the platform at my lover's knee."

"Of course, the astounding spectacle took the poor lad's breath away. He could only stare in stupid astonishment, and wonder how a single individual could possess such incredible riches. Then presently he glanced brilliantly up and exclaimed:

"Ah, it is you who are the renowned millionaire!"

"My father and all the rest burst into shouts of happy laughter, and when my father gathered the treasure carelessly up as if it might be mere rubbish and of no consequence, and carried it back to its place, poor Kalula's surprise was a study. He said:

"Is it possible that you put such things away without counting them?"

"My father delivered a vain-glorious horse-laugh, and said:

"Well, truly, a body may know you have never been rich, since a mere matter of a fish-hook or two is such a mighty matter in your eyes."

"Kalula was confused, and hung his head, but said:

"Ah, indeed, sir, I was never worth the value of the barb of one of those precious things, and I have never seen any man before who was so rich in them as to render the counting of his hoard worth while, since the wealthiest man I have ever known, till now, was possessed of but three."

"My foolish father roared again with jejune delight, and allowed the impression to remain that he was not accustomed to count his hooks and keep sharp watch over them. He was showing off, you see. Count them? Why, he counted them every day!

"I had met and got acquainted with my darling just at dawn; I had brought him home just at dark, three hours afterwards – for the days were shortening toward the six-months' night at that time. We kept up the festivities many hours; then, at last, the guests departed and the rest of us distributed ourselves along the walls on sleeping-benches, and soon all were steeped in dreams but me. I was too happy, too excited, to sleep. After I had lain quiet a long, long time, a dim form passed by me and was

обыкновенно, печально прибавляют: «Она утопает в крючках, а у нас нет ничего». Это меня убивает. Когда я была еще ребенком, и отец мой был беден, мы спали, если это нам нравилось, при открытых дверях, а теперь нам стал необходим ночной сторож. Тогда отец мой был любезен и вежлив со всеми, а теперь он суров и надменен и не любит чьей-либо фамильярности. Когда-то семья была единственным предметом его заботы, а ныне он целый день пересчитывает только свои крючки. Даже более! Теперь все льстят ему и раболепствуют пред ним ради его богатства. Бывало, никто не слушал его острот, которые всегда тяжелы, натянуты и плоски и не имеют ровно ничего, что давало бы им даже право на звание остроты, не имеют даже простого добродушия, теперь же все заливаются – хохочут над теми же самыми жалкими потугами к острословию, потому что если отец замечает, что кто-нибудь не смеется, он сильно обижается и всегда найдет случай показать это тому человеку. Прежде, бывало, с ним никто не советовался, потому что советы его все какие-то неудачные, а теперь, хотя он ничуть не сделался умнее, все спрашивают его мнения и восхищаются его мудростью. Сам же он никогда не пропустит случая, чтобы его похвалили, потому что совершенно лишен деликатности и такта. Он понизил общий уровень всего нашего племени. Когда-то это был народ сильный и искренний, а теперь больше всего у нас мерзких подхалюз, способных только на раболепство. Ох! От всей души я иногда ненавижу богатство. Раньше мы были людьми простыми, довольствовавшимися обыкновенными крючками из рыбьих костей, которыми пользовались и наши предки, а теперь нас заела приобретательность, и мы жертвуем своей честью и прямотою, чтобы только владеть противными заграничными железными крючками. Однако надо стряхнуть с себя эту печаль... Как я вам уже говорила, заветной мечтой моей было – быть любимой не из-за денег... И вот, наконец, по-видимому, пришло время исполниться моей мечте. В один прекрасный день сюда пришел чужестранец, назвавший себя Калулой. Я сказала ему свое имя, а он признался, что меня любит. Сердце мое забилося сильно, сильно от радости – я полюбила его с первого взгляда. Мы объяснились. Он сжал меня в своих объятиях, уверяя, что он никогда не мог себе даже представить такого счастья, какое он испытывал. Мы далеко ушли по снежным равнинам, без конца болтая между собой и строя планы. Ах, каким прекрасным представлялось нам будущее! Когда мы почувствовали усталость, то уселись и поели – у него были с со-

swallowed up in the gloom that pervaded the farther end of the house. I could not make out who it was, or whether it was man or woman. Presently that figure or another one passed me going the other way. I wondered what it all meant, but wondering did no good; and while I was still wondering I fell asleep."

"I do not know how long I slept, but at last I came suddenly broad awake and heard my father say in a terrible voice, "By the great Snow God, there's a fish-hook gone!" Something told me that that meant sorrow for me, and the blood in my veins turned cold. The presentiment was confirmed in the same instant: my father shouted, "Up, everybody, and seize the stranger!" Then there was an outburst of cries and curses from all sides, and a wild rush of dim forms through the obscurity. I flew to my beloved's help, but what could I do but wait and wring my hands? – he was already fenced away from me by a living wall, he was being bound hand and foot. Not until he was secured would they let me get to him. I flung myself upon his poor insulted form and cried my grief out upon his breast while my father and all my family scoffed at me and heaped threats and shameful epithets upon him. He bore his ill usage with a tranquil dignity which endeared him to me more than ever, and made me proud and happy to suffer with him and for him. I heard my father order that the elders of the tribe be called together to try my Kalula for his life."

"What!" I said, "before any search has been made for the lost hook?"

"Lost hook!" they all shouted, in derision; and my father added, mockingly, "Stand back, everybody, and be properly serious – she is going to hunt up that lost hook: oh, without doubt she will find it!" – whereat they all laughed again.

"I was not disturbed – I had no fears, no doubts". I said:

"It is for you to laugh now; it is your turn. But ours is coming; wait and see."

"I got a rag lamp. I thought I should find that miserable thing in one little moment; and I set about that matter with such confidence that those people grew grace, beginning to suspect that perhaps they had been too hasty. But alas and alas! – oh, the bitterness of that search! There was deep silence while one might count his fingers ten or twelve times, then my heart began to sink, and around me the mockings began again, and grew steadily louder and more assured, until at last, when I gave up, they burst into volley after volley of cruel laughter."

бой мыло и свечи, а у меня немного китового жира. Мы были голодны, и пища никогда нам не казалась более вкусной!.. Он принадлежал к племени, чумы которого были далеко от нас на севере. Я поняла, что он ничего не знает о моем отце! Я была ужасно рада этому. Хотя он и слышал рассказы о каком-то миллионере, но не знал его имени. Итак, вы, конечно, понимаете, он не знал, что я богатая наследница. Я не сказала ему также ничего. Наконец-то меня полюбили не из-за денег – и это меня вполне удовлетворило. Я была так счастлива! Ах! Более счастлива, чем вы можете вообразить!

Тем временем подошел час ужина, и я проводила его домой. Увидав наш дом, он остановился, пораженный изумлением, и вскричал: «Какое великолепие! Это дом вашего отца?»

Мне было неприятно услышать эти слова и видеть тот огонек удивления, который блеснул в его глазах. Но это чувство быстро рассеялось – я так его любила. Он показался мне таким красивым и благородным. Вся моя семья, дяди, тетки, двоюродные братья – все были довольны им. Собрались некоторые из наших знакомых, плотно закупили весь дом, зажгли лампы и, когда все согрелись и развеселились, весело отпраздновали нашу помолвку.

Все шло хорошо, но к концу праздника тщеславие отца моего не выдержало. Он не мог воздержаться от искушения похвастаться своим богатством и показать Калуде, с кем он имеет дело. Я, предчувствуя, что он намеревается потешить себя удивлением бедного юноши, хотела было помешать отцу, но это могло бы быть небезопасно, поэтому я, не сказав ничего, печально уселась на своем месте.

Отец на глазах всех подошел к тайнику, взял из него крючки и высыпал их на мою голову. Они в беспорядке скатились на пол и даже к ногам моего жениха.

Понятно, что от такого зрелища у бедного молодого человека захватило дух. Он окаменел от удивления, перепугался и никак не мог понять того, что один человек владеет таким невероятным богатством. Наконец он уставил глаза свои на отца и вскричал: «А! Так это вы тот знаменитый миллионер».

Отец и все присутствующие громко расхохотались. Но когда отец принялся небрежно собирать свое богатство, словно бы это были вещи, не имеющие ценности, и положить их на место, удивлению Калуды не было, по-видимому, конца: «Возможно ли, сказал он, собирать подобные вещи без счета?»

"None will ever know what I suffered then. But my love was my support and my strength, and I took my rightful place at my Kalula's side, and put my arm about his neck, and whispered in his ear, saying:

"You are innocent, my own – that I know; but say it to me yourself, for my comfort, then I can bear whatever is in store for us."

"He answered:

"As surely as I stand upon the brink of death at this moment, I am innocent. Be comforted, then, O bruised heart; be at peace, O thou breath of my nostrils, life of my life!"

"Now, then, let the elders come!" – and as I said the words there was a gathering sound of crunching snow outside, and then a vision of stooping forms filing in at the door – the elders.

"My father formally accused the prisoner, and detailed the happenings of the night. He said that the watchman was outside the door, and that in the house were none but the family and the stranger. "Would the family steal their own property?" He paused. The elders sat silent many minutes; at last, one after another said to his neighbour, "This looks bad for the stranger" – sorrowful words for me to hear. Then my father sat down. O miserable, miserable me! At that very moment I could have proved my darling innocent, but I did not know it!

"The chief of the court asked:

"Is there any here to defend the prisoner?"

"I rose and said:

"Why should he steal that hook, or any or all of them? In another day he would have been heir to the whole!"

I stood waiting. There was a long silence, the steam from the many breaths rising about me like a fog. At last one elder after another nodded his head slowly several times, and muttered, "There is force in what the child has said." Oh, the heart-lift that was in those words! – so transient, but, oh, so precious! I sat down.

"If any would say further, let him speak now, or after hold his peace," said the chief of the court.

"My father rose and said:

"In the night a form passed by me in the gloom, going toward the treasury and presently returned. I think, now, it was the stranger."

"Oh, I was like to swoon! I had supposed that that was my secret; not the grip of the great Ice God himself could have dragged it out of my heart. The chief of the court said sternly to my poor Kalula:

"Speak!"

Отец залился надменным хохотом, подобным лошадиному ржанию.

«Да, – сказал он, – никто не подумает, что вы были богачом. Такие обыкновенные вещи, как крючок или два, играют в ваших глазах такую громадную роль!»

Калула, совершенно сконфуженный, покачал головой и ответил: «Совершенно верно, господин, я никогда не обладал ни одной ценной вещью. Я не видал даже такого богатого крючками человека, который бы не находил нужным считать их. Самый богатый человек, которого я знал до сих пор, имел только три крючка!»

Отец был доволен так, как никогда, – он положительно рычал от удовольствия и совершенно не думал разуверять присутствующих в том, что он не имеет обычая пересчитывать и строго наблюдать за своими крючками. Вы, конечно, поняли, что это было только тщеславие. Не считает! Как бы не так! Да он пересчитывает их каждый день.

Я встретила со своим женихом на заре. Три часа спустя после того, как я привела его к нам, наступили сумерки. Дни становились короткими. Время подходило к шестимесячной зимней ночи. Торжество затянулось довольно долго. Наконец гости наши разошлись по домам. Мы разместились вдоль стен, на скамьях для сна, и скоро все, кроме меня, погрузилось в глубокий сон. Я была слишком счастлива, слишком возбуждена для того, чтобы спать. Много прошло времени – я оставалась неподвижной, как вдруг передо мной промелькнула какая-то тень и исчезла в другом конце дома.

Я не могла различить – мужчина это или женщина. Та же тень или другая, похожая на нее, тотчас же пробежала передо мной в противоположную сторону. Я принялась раздумывать, что бы это могло быть, но мои размышления не привели ни к чему. Размышляя, я заснула.

Не знаю, долго ли я спала, но я быстро проснулась, услышав страшный крик отца: «Клянусь Великим Богом снегов – не хватает одного крючка!» Какой-то голос подсказал, что это несет мне несчастье, и кровь застыла в моих жилах. Мое предчувствие быстро перешло в действительность. Я слышала, отец кричал: «Вставайте все, общитесь чужестранца!», тотчас же отовсюду послышался взрыв криков и сквернословия, неясные тени бродили в темноте. Я бросилась на помощь любимому человеку, но что я могла сделать более того, как стоять и ломать себе руки? Вот нас уже разделяет живая

"Kalula hesitated, then answered:

"It was I. I could not sleep for thinking of the beautiful hooks. I went there and kissed them and fondled them, to appease my spirit and drown it in a harmless joy, then I put them back. I may have dropped one, but I stole none."

"Oh, a fatal admission to make in such a place! There was an awful hush. I knew he had pronounced his own doom, and that all was over. On every face you could see the words hieroglyphed: "It is a confession! – and paltry, lame, and thin."

"I sat drawing in my breath in faint gasps – and waiting. Presently, I heard the solemn words I knew were coming; and each word, as it came, was a knife in my heart:

"It is the command of the court that the accused be subjected to the trial by water."

"Oh, curses be upon the head of him who brought "trial by water" to our land! It came, generations ago, from some far country that lies none knows where. Before that our fathers used augury and other unsure methods of trial, and doubtless some poor guilty creatures escaped with their lives sometimes; but it is not so with trial by water, which is an invention by wiser men than we poor ignorant savages are. By it the innocent are proved innocent, without doubt or question, for they drown; and the guilty are proven guilty with the same certainty, for they do not drown. My heart was breaking in my bosom, for I said, "He is innocent, and he will go down under the waves and I shall never see him more."

"I never left his side after that. I mourned in his arms all the precious hours, and he poured out the deep stream of his love upon me, and oh, I was so miserable and so happy! At last, they tore him from me, and I followed sobbing after them, and saw them fling him into the sea – then I covered my face with my hands. Agony? Oh, I know the deepest deeps of that word!"

"The next moment the people burst into a shout of malicious joy, and I took away my hands, startled. Oh, bitter sight – he was swimming! My heart turned instantly to stone, to ice. I said, "He was guilty, and he lied to me!" I turned my back in scorn and went my way homeward.

"They took him far out to sea and set him on an iceberg that was drifting southward in the great waters. Then my family came home, and my father said to me:

"Your thief sent his dying message to you, saying, "Tell her I am innocent, and that all the days and all the hours and all the minutes while I

стена, ему связали руки и ноги. Мне не дают подойти к нему до тех пор, пока он не был связан окончательно. Я кинулась к моему бедному, оскорбленному и излила горе на его груди. Отец и вся наша семья издевались надо мной и осыпали его ругательствами и обидными прозвищами. Он переносил все с замечательным достоинством, так что я полюбила его еще более, чем когда-либо. Я радовалась и гордилась тем, что я страдаю с ним и из-за него. Наконец я услышала, мой отец приказывал разыскать стариков, чтобы покончить жизнь моего бедного Калулы.

«Как? – вскричала я. – Даже не поймав предварительно погибшего крючка?»

«Искать погибший крючок?» – послышался со всех сторон насмешливый вопрос. Отец, также глумясь, прибавил: «Держитесь все подальше и будьте серьезны. Она будет искать погибший крючок. Ах! Она найдет его без всякого сомнения!»

При этих словах все еще более расхохотались. Я не смутилась. У меня не было ни боязни, ни сомнения.

«Смейтесь, смейтесь, – сказала я. – Ваш черед! Но придет и наш! Подождите и увидите!»

Я взяла лампу, полагая, что сейчас же найду этот несчастный крючок, и принялась за поиски с такой уверенностью, что все вдруг стали серьезны, у всех вдруг зародилась мысль, что, может быть, они, действительно, слишком поторопились. Но, увы! Только одно горькое сознание было результатом моих поисков!

Сначала повсюду царствовало глубокое молчание. Но я чувствовала, что мое сердце слабеет. Насмешки скоро возобновились, с каждой минутой все более и более возрастая, и когда я возвратилась, они перешли в ругательства и злые издевательства.

Никто никогда не будет знать, сколько я выстрадала в эту минуту. Одна любовь была мне опорой и крепостью. Я воротилась на свое старое место рядом с Калулой, обвила руками его шею и прошептала ему на ухо: «Ты невиновен, мой милый, я знаю! Но скажи ты мне это сам, чтобы уверить меня, и я тогда могу перенести все бедствия, которые нам угрожают!»

«Да, верно, – ответил он мне, – я невинен. Я говорю это на краю моей могилы. Успокойся, бедное, разбитое сердце! Успокойся, дыхание ноздрей моих, жизнь моей жизни!»

starve and perish I shall love her and think of her and bless the day that gave me sight of her sweet face." Quite pretty, even poetical!

"I said, "He is dirt – let me never hear mention of him again." And oh, to think – he was innocent all the time!

"Nine months – nine dull, sad months – went by, and at last came the day of the Great Annual Sacrifice, when all the maidens of the tribe wash their faces and comb their hair. With the first sweep of my comb out came the fatal fish-hook from where it had been all those months nestling, and I fell fainting into the arms of my remorseful father! Groaning, he said, "We murdered him, and I shall never smile again!" He has kept his word. Listen; from that day to this not a month goes by that I do not comb my hair. But oh, where is the good of it all now!"

So ended the poor maid's humble little tale – whereby we learn that since a hundred million dollars in New York and twenty-two fish-hooks on the border of the Arctic Circle represent the same financial supremacy, a man in straitened circumstances is a fool to stay in New York when he can buy ten cents' worth of fish-hooks and emigrate.

<http://www.readbookonline.net/readOnLine/1004/>

«Тогда пусть же идут старики. Если у кого-либо есть что сказать, – провозгласил председатель суда, – то пусть он скажет теперь же, чтобы потом не нарушать тишины».

Отец поднялся.

«В эту ночь, – сказал он, – тень проскользнула на моих глазах к тайнику и возвратилась назад. Я уверен теперь, что это был чужестранец».

Я думала, что упаду в обморок. Мне казалось, что эта тайна принадлежит только мне, а из моего сердца ее не вырвала бы даже рука великого Бога льдов. Председатель суда строго обратился к моему бедному Калуле: «Говорите!»

Сначала Калула замялся, а потом спокойно ответил: «Да это был я! Воспоминание об этих чудных крючках мешало мне спать. Я подошел к ним, поцеловал, погладил их, чтобы успокоить свою душу и насладиться этим безобидным удовольствием. Потом я снова положил их на место. Возможно, что один крючок я уронил, но воровать... Калула никогда не воровал!»

Ах! Подобное признание в этот момент было роковым! Поднялся ужасный крик. Я поняла, что он сам добивался осуждения, чтобы скорей кончить все это. На лице стариков можно было прочесть следующие слова: «Это исповедь, но исповедь только наполовину, лживая и изворотливая».

И когда я говорила это, за чумом послышался хруст снега, и в дверь проскользнуло несколько согнутых фигур – это были старики.

Отец формально обвинил связанного и подробно рассказал происшествие этой ночи. Он говорил, что на дворе всю ночь ходил сторож, а в доме никого не было кроме семьи и этого чужестранца.

«Зачем семье воровать то, что составляет её собственность?» – и он остановился. Старики молчали несколько томительно долгих минут. Наконец каждый из них по очереди сказал другому: «Это дело чужестранца!» Печальны были для меня эти слова! Отец успокоился. О, я несчастная! Несчастливая! В этот момент я еще могла доказать невинность моего милого, но я не знала чем!..

Вот председатель судей спросил: «Нет ли кого здесь желающего защитить обвиняемого?»

Я поднялась и сказала: «Зачем ему было красть один или несколько крючков, когда он сегодня или завтра наследовал бы все?»

Я осталась стоя ожидать. Долго царилو глубокое молчание. В воздухе стоял туман от дыхания. Наконец все старики один за дру-

гим неоднократно покачали головой и проговорили: «В словах девочки есть известная доля правды». Ах, какое утешение мне принесли эти слова. Правда, утешение было очень непрочное, но зато так отраднo! Я села.

– Нет ли еще кого-либо желающего?

Я села, вздыхая, ждать. Наконец, я услышала торжественные слова, которые, я была уверена ранее, должны были сегодня прозвучать. Но, однако, каждое из них, как кинжал, терзали мое сердце.

По приговору суда он будет подвергнут казни водой.

О! Да падут все проклятия на голову того, кто занес к нам эту казнь водой! Обычай этот не наш – он заимствован у какого-то таинственного народа, живущего неизвестно где. Прежде наши предки в подобных случаях пользовались советами авгуров и другими, не известными теперь способами, и, несомненно, не раз жизнь многих осужденных была этим сохранена. Казнь же водой не принадлежит к числу этих простых способов суда. Она приобретение людей более умных, чем мы – бедные, невежественные дикари. В этой казни водой нет ни сомнений, ни вопросов – она прямо показывает невинных – невинными, потому что они тонут на воде. Виновные оказываются с полным вероятноиeм виновными, так как они не тонут на воде. Сердце мое сильно билось в груди – я говорила себе: «Он невинен, он исчезнет под волнами, и я никогда не увижу его».

После приговора я его уже не оставляла ни на минуту. Все это дорогое время я проплакала на его груди, и он ласкал меня со страстной любовью. Ах! Как я была несчастна и счастлива в одно и то же время! Наконец, меня оторвали от его груди. Рыдая, я шла со всеми и видела, как его бросили в море. Я закрыла лицо руками... Страдание! О! Как мне хорошо известен с тех пор весь глубокий смысл этого слова!

Минуту спустя в толпе раздался взрыв злобной радости. Я открыла лицо и посмотрела... О! Ужас! Он плавает! Сердце мое сразу превратилось в камень, оледенело.

Я сказала себе: «Он был виновен, он мне лгал». Я с презрением отвернулась и ушла домой.

Его тотчас же отвезли далеко в море и оставили на льдине, которая плыла к югу в открытый океан. После чего все наши домашние воротились, и отец сказал мне: «Твой вор пред смертью просил тебе передать свое приветствие. “Скажите, – говорит, – ей, что я невинен, и каждый час, каждый день, каждую минуту – пока я буду умирать

голодной смертью, сердце мое будет жить любовью к ней, я буду думать о ней, благословлять тот день, когда впервые судьба свела нас!” Не правда ли нежен? Даже немножко поэт!»

«Это подлое существо, – отвечала я. – Пусть никто более не напоминает мне о нем!»

И что если вдруг он был все-таки невинен! Прошло девять месяцев, девять печальных и безотрадных месяцев северной зимней ночи! Наконец наступил день ежегодного жертвоприношения, когда все наши молодые моют себе лицо и чешут волосы. При первом прикосновении гребнем к моей голове роковой крючок выпал из своего необычного тайника, в котором он оставался так долго. Я упала без чувств на руки отца, которого также мучило раскаяние. Отец мне сказал с глубоким вздохом: «Мы виновны в убийстве, и я более никогда не улыбнусь!» И он сдержал свое слово. Я же каждый месяц с того дня расчесывала свои волосы. Но, увы, прошлого не воротишь.

Так кончилась история бедной девушки. Мы можем вывести из неё такое нравоучение для себя, что если 500 миллионов долларов в Нью-Йорке и 22 крючка на берегах Северного моря дают одинаковое положение человеку, то без сомнения будет дураком всякий, кто, не пользуясь жизненными благами, останется в Нью-Йорке, когда он может купить на пятак крючков и эмигрировать в благословенные северные страны – к эскимосам.

А. Михайлович

Перевод опубликован в «Прибавлении» к «Сибирскому вестнику», 1895, №№ 77, 78, 80, 82.

Journalism in Tennessee (1871)

The editor of the Memphis Avalanche swoops thus mildly down upon a correspondent who posted him as a Radical: – "While he was writing the first word, the middle, dotting his i's, crossing his t's, and punching his period, he knew he was concocting a sentence that was saturated with infamy and reeking with falsehood." – Exchange.

I was told by the physician that a Southern climate would improve my health, and so I went down to Tennessee, and got a berth on the Morning Glory and Johnson County War-Whoop as associate editor. When I went on duty I found the chief editor sitting tilted back in a three-legged chair with his feet on a pine table. There was another pine table in the room and another afflicted chair, and both were half buried under newspapers and scraps and sheets of manuscript. There was a wooden box of sand, sprinkled with cigar stubs and "old soldiers," and a stove with a door hanging by its upper hinge. The chief editor had a long-tailed black cloth frock-coat on, and white linen pants. His boots were small and neatly blacked. He wore a ruffled shirt, a large seal-ring, a standing collar of obsolete pattern, and a checkered neckerchief with the ends hanging down. Date of costume about 1848. He was smoking a cigar, and trying to think of a word, and in pawing his hair he had rumbled his locks a good deal. He was scowling fearfully, and I judged that he was concocting a particularly knotty editorial. He told me to take the exchanges and skim through them and write up the "Spirit of the Tennessee Press," condensing into the article all of their contents that seemed of interest.

I wrote as follows:

SPIRIT OF THE TENNESSEE PRESS

The editors of the Semi-Weekly Earthquake evidently labor under a misapprehension with regard to the Dallyhack railroad. It is not the object of the company to leave Buzzardville off to one side. On the contrary, they consider it one of the most important points along the line, and consequently can have no desire to slight it. The gentlemen of the Earthquake will, of course, take pleasure in making the correction.

John W. Blossom, Esq., the able editor of the Higginsville Thunderbolt and Battle Cry of Freedom, arrived in the city yesterday. He is stopping at the Van Buren House.

Журналистика в Теннесси

Доктор уверил меня, что южный климат был бы очень полезен моему здоровью, и вот я отправился в Теннесси, где получил место помощника редактора при газете «Утренняя слава и воинский клик Каунти-Джонсон». Явившись принимать должность, я застал главного редактора развалившимся на трехногом стуле, причем ноги его покоились на столе. В комнате стоял еще один сосновый стол и плачевного вида стул; как тот, так и другой заваленные газетами, вырезками и рукописями. Находился также и деревянный ящик с песком, сплошь усеянный сигарными и папиросными окурками.

На редакторе были надеты белые полотняные брюки, черный сюртук и маленькие, тщательно вычищенные сапоги. Он носил плоские рубашки со старомодным стоячим воротником, пестрый шейный платок и перстень с печатью. Он курил сигару и в погоне за каким-то словом водил рукою по голове, чем привел в большой беспорядок свою прическу. Вид у него был страшно нахмуренный, и я заключил, что он занят составлением особенно заковыристой передовицы. Он мне велел взять местные листки, просмотреть их и написать статью о духе прессы в Теннесси, в которой нужно упомянуть обо всем, что представляет какой-нибудь интерес.

Я написал следующее: Журналистика в Теннесси.

– Редакторы «Полунедельного землетрясения» впали, очевидно, в ошибку относительно железной дороги на Балигак. Железнодорожная компания вовсе не намерена оставить в стороне Бузардвилль; напротив, она считает это место за один из важнейших пунктов на линии, а потому и не может не желать воспользоваться им. Господа сотрудники «Землетрясения» конечно с удовольствием сделают надлежашую поправку.

– Г. Джон Блоссом, деятельный редактор издаваемой в Гиггинсвиле газеты «Грозовая стрела и боевой крик свободы» прибыл вчера в наш город. Он остановился в Ван-Бурен Гауз.

– Мы замечаем, что наш собрат из Мьюд-Спрингского «Утреннего воя» ошибся, предположив, что выбор Ван Вертера – факт, еще не состоявшийся; но прежде чем до него дойдет настоящее напоминание, он, наверное, сам исправит свою ошибку. Без сомнения его ввели в заблуждение неточные сведения о выборах.

– С удовольствием отмечаем следующий факт: город Блатерсвилль заключил контракт с несколькими нью-йоркскими джентль-

We observe that our contemporary of the Mud Springs Morning Howl has fallen into the error of supposing that the election of Van Werter is not an established fact, but he will have discovered his mistake before this reminder reaches him, no doubt. He was doubtless misled by incomplete election returns.

It is pleasant to note that the city of Blathersville is endeavoring to contract with some New York gentlemen to pave its well-nigh impassable streets with the Nicholson pavement. The Daily Hurrah urges the measure with ability, and seems confident of ultimate success.

I passed my manuscript over to the chief editor for acceptance, alteration, or destruction. He glanced at it and his face clouded. He ran his eye down the pages, and his countenance grew portentous. It was easy to see that something was wrong. Presently he sprang up and said:

"Thunder and lightning! Do you suppose I am going to speak of those cattle that way? Do you suppose my subscribers are going to stand such gruel as that? Give me the pen!"

I never saw a pen scrape and scratch its way so viciously, or plow through another man's verbs and adjectives so relentlessly. While he was in the midst of his work, somebody shot at him through the open window, and marred the symmetry of my ear.

"Ah," said he, "that is that scoundrel Smith, of the Moral Volcano – he was due yesterday." And he snatched a navy revolver from his belt and fired – Smith dropped, shot in the thigh. The shot spoiled Smith's aim, who was just taking a second chance and he crippled a stranger. It was me. Merely a finger shot off.

Then the chief editor went on with his erasure; and interlineations. Just as he finished them a hand grenade came down the stove-pipe, and the explosion shivered the stove into a thousand fragments. However, it did no further damage, except that a vagrant piece knocked a couple of my teeth out.

"That stove is utterly ruined," said the chief editor.

I said I believed it was.

"Well, no matter – don't want it this kind of weather. I know the man that did it. I'll get him. Now, here is the way this stuff ought to be written."

I took the manuscript. It was scarred with erasures and interlineations till its mother wouldn't have known it if it had had one. It now read as follows:

менами, которые обязуются устроить мостовую из Никольсоновского пластыря на едва проходимых городских улицах. «Ежедневное ура» сильно ратует за это предприятие и, кажется, не сомневается в его окончательном успехе!

Я вручил рукопись редактору для принятия, изменения или уничтожения. Он взглянул на нее, и чело его омрачилось. Глаза его забегали по страницам, и лицо приняло зловещее выражение. Очевидно, что-то было не так. Вдруг он вскочил и закричал: «Гром и молния! Неужели вы думаете, что я буду говорить подобным тоном об этих скотах. Разве мои подписчики в состоянии переварить подобную кашу? Дайте-ка мне перо!»

Никогда не видал я, чтобы чье-нибудь перо так злобно царапало и черкало или так беспощадно перепахивало глаголы и имена прилагательные, написанные другим человеком. Когда редактор был в самом разгаре работы, кто-то выстрелил в него чрез открытое окно.

«А, – сказал он, – это, верно, бездельник Смит; я поджидал его еще вчера». С этими словами он выхватил из-за пояса матросский револьвер и выстрелил. Смит упал раненный в бедро. Вследствие этого, Смит, который как раз в это время стрелял в другой [раз], промахнулся и попал в человека, совершенно стороннего. Он попал в меня. Отстрелил мне всего лишь один палец.

Главный редактор снова занялся своими поправками и вычеркиванием.

Едва успел он окончить эту работу, как через печную трубу влетела бомба и разорвала печь на тысячу кусков; впрочем, дальнейшего ущерба не нанесла, и только заслонка выбила мне два зуба.

«Печь вконец разрушена», – заметил главный редактор.

Я сказал, что и я того же мнения.

«Ну да это не важно. При такой теплой погоде печь все равно не нужна. Я знаю, кто это сделал. Я до него уже доберусь. Вот вам рецепт, по которому вы должны писать». Я взял рукопись. Она до такой степени была испещрена пометками и вставками, что даже её родная мать, если бы таковая имелась, не узнала бы ее. Я прочел следующее:

– Журналистика в Теннесси. – Закоренелые лгуны «Полунедельного землетрясения», очевидно, опять стараются навязать благородному и рыцарскому народу подлую и скотскую ложь относительно славнейшей идеи девятнадцатого столетия – железной дороги в Балигак. Мысль, будто Бузардвиль останется в стороне от дороги, могла

SPIRIT OF THE TENNESSEE PRESS

The inveterate liars of the Semi-Weekly Earthquake are evidently endeavoring to palm off upon a noble and chivalrous people another of their vile and brutal falsehoods with regard to that most glorious conception of the nineteenth century, the Ballyhack railroad. The idea that Buzzardville was to be left off at one side originated in their own fulsome brains – or rather in the settlings which they regard as brains. They had better, swallow this lie if they want to save their abandoned reptile carcasses the cowhiding they so richly deserve.

That ass, Blossom, of the Higginsville Thunderbolt and Battle Cry of Freedom, is down here again sponging at the Van Buren.

We observe that the besotted blackguard of the Mud Springs Morning Howl is giving out, with his usual propensity for lying, that Van Werter is not elected. The heaven-born mission of journalism is to disseminate truth; to eradicate error; to educate, refine, and elevate the tone of public morals and manners, and make all men more gentle, more virtuous, more charitable, and in all ways better, and holier, and happier; and yet this blackhearted scoundrel degrades his great office persistently to the dissemination of falsehood, calumny, vituperation, and vulgarity.

Blathersville wants a Nicholson pavement--it wants a jail and a poor-house more. The idea of a pavement in a one-horse town composed of two gin-mills, a blacksmith shop, and that mustard-plaster of a newspaper, the Daily Hurrah! The crawling insect, Buckner, who edits the Hurrah, is braying about his business with his customary imbecility, and imagining that he is talking sense.

"Now that is the way to write – peppery and to the point. Mush-and-milk journalism gives me the fan-tods."

About this time a brick came through the window with a splintering crash, and gave me a considerable of a jolt in the back. I moved out of range – I began to feel in the way.

The chief said, "That was the Colonel, likely. I've been expecting him for two days. He will be up now right away."

He was correct. The Colonel appeared in the door a moment afterward with a dragoon revolver in his hand.

He said, "Sir, have I the honor of addressing the poltroon who edits this mangy sheet?"

"You have. Be seated, sir. Be careful of the chair, one of its legs is gone. I believe I have the honor of addressing the putrid liar, Colonel Blatherskite Tecumseh?"

родиться только в их собственных отвратительных мозгах, или, вернее, в том месте, которое *они* считают за мозги. Они сделали бы лучше, если бы проглотили сами эту ложь, потому что тогда они спасли бы свои тела – эти настоящие трупы гадов – от столь заслуженной порки.

– Осел по имени Блоссом из «Громовой стрелы и боевого крика свободы» опять здесь. Его заперли в смиренный дом – Ван Бурен.

– Мы замечаем, что одуревший головорез из Мьюд-Спринского «Утреннего воя» со свойственной ему склонностью ко лжи распространяет слух, будто Ван-Верд не выбран. Божественная миссия печати состоит в распространении истины, в искоренении заблуждений, в воспитании, поднятии и облагораживании общественных нравов и морали; она должна сделать человечество мягче, добродетельнее, сердечнее и, во всяком случае, лучше, святее и счастливее; этот же коварный подлец постоянно низводит свою высокую должность до распространения лжи, клеветы, хулы и пошлости.

Для Блаттерсвиля нужен Никольсовский камень, но ему гораздо нужнее тюрьма и богадельня: что за глупая идея устраивать мостовую в паршивом местечке, все достопримечательности которого составляют две винокурни, кузница и горчичный пластырь – газета «Ежедневное ура»! Издатель «ура», пресмыкающееся насекомое Букрен, со свойственной ему глупостью кричит по этому поводу как осел и воображает, что говорит что-нибудь путное».

В это время в окно с треском влетел кирпич, разбил раму и нанес порядочный удар мне в спину.

«Это, должно быть, полковник, – сказал редактор. – Я ожидаю его уже два дня. Он сейчас будет здесь».

Редактор был прав. Через минуту в дверях появился полковник с драгунским револьвером в руке. Он обратился:

– Сэр, я, кажется, имею честь видеть трусишку, который издает эту грязную простыню?

– Вы имеете эту честь. Садитесь, сэр, только обходитесь осторожнее со стулом – у него не хватает одной ноги. Я думаю, что имею честь говорить с гнилым лгунишкой, полковником Блатерскейт-Текумзе?

– Да, сэр. Мне нужно свести с вами маленький счетец. Если у вас есть время, то займемся этим сейчас же.

– Мне нужно написать статью об «утешительном прогрессе морального и интеллектуального развития в Америке», но это не к спеху. Начинайте.

"Right, Sir. I have a little account to settle with you. If you are at leisure we will begin."

"I have an article on the 'Encouraging Progress of Moral and Intellectual Development in America' to finish, but there is no hurry. Begin."

Both pistols rang out their fierce clamor at the same instant. The chief lost a lock of his hair, and the Colonel's bullet ended its career in the fleshy part of my thigh. The Colonel's left shoulder was clipped a little. They fired again. Both missed their men this time, but I got my share, a shot in the arm. At the third fire both gentlemen were wounded slightly, and I had a knuckle chipped. I then said, I believed I would go out and take a walk, as this was a private matter, and I had a delicacy about participating in it further. But both gentlemen begged me to keep my seat, and assured me that I was not in the way.

They then talked about the elections and the crops while they reloaded, and I fell to tying up my wounds. But presently they opened fire again with animation, and every shot took effect – but it is proper to remark that five out of the six fell to my share. The sixth one mortally wounded the Colonel, who remarked, with fine humor, that he would have to say good morning now, as he had business uptown. He then inquired the way to the undertaker's and left.

The chief turned to me and said, "I am expecting company to dinner, and shall have to get ready. It will be a favor to me if you will read proof and attend to the customers."

I winced a little at the idea of attending to the customers, but I was too bewildered by the fusillade that was still ringing in my ears to think of anything to say.

He continued, "Jones will be here at three--cowhide him. Gillespie will call earlier, perhaps – throw him out of the window. Ferguson will be along about four – kill him. That is all for today, I believe. If you have any odd time, you may write a blistering article on the police – give the chief inspector rats. The cowhides are under the table; weapons in the drawer – ammunition there in the corner – lint and bandages up there in the pigeonholes. In case of accident, go to Lancet, the surgeon, downstairs. He advertises – we take it out in trade."

He was gone. I shuddered. At the end of the next three hours I had been through perils so awful that all peace of mind and all cheerfulness were gone from me. Gillespie had called and thrown me out of the window. Jones arrived promptly, and when I got ready to do the cowhiding he took the job off my hands. In an encounter with a stranger, not in the

В то же мгновение выстрелили оба из пистолета.

Редактор потерял при этом один палец, и пуля полковника застряла в мясистой части моего бедра. У полковника было слегка задето плечо. Выстрелили снова. Оба промахнулись на этот раз друг в друга, но я получил свою долю, именно рану в руку. При стрельбе в третий раз оба джентльмена слегка поранили друг друга, у меня же оказалась раздробленную кисть.

Тогда я сказал, что пойду немножко прогуляться, так как их беседа носит чисто частный характер и чувство деликатности не позволяет мне больше принимать в ней участие. Но оба джентльмена упростили меня остаться, уверяя, что я нисколько им не мешаю.

После этого они заговорили о выборах и урожае, а я занялся перевязыванием ран. Но скоро снова открылся огонь с еще большим оживлением, и каждый выстрел попадал, но я должен здесь заметить, что из шести пуль пять сидели в моем теле. Шестым выстрелом был смертельно ранен полковник, редактор же с тонким юмором заметил, что должен откланяться, так как у него есть еще в городе дела. Затем он справился об адресе могильщика и удалился.

Редактор обратился ко мне и сказал: «Я ожидаю к обеду общество и должен пойти все подготовить к приему. Вы меня очень обяжете, если просмотрите корректуру и примете за меня посетителей».

Я содрогнулся при мысли принимать подобных посетителей, но был так ошеломлен канонадой, все еще раздававшейся у меня в ушах, что ничего не ответил на это.

Он продолжал: «Джен придет сюда в 3 часа, отдуйте его плетью. Джильмен зайдет быть может несколько пораньше, выбросьте его в окно. Ферножн придет в 4, убейте его. На сегодня, я думаю, это все. Если у вас останется свободное время, напишите ядовитую статью про полицию, заставьте полицмейстера проглотить несколько горьких пилюль. Плети лежат под столом, оружие в ящике стола, патроны в углу, халат и бинт в конторке. Если с вами приключится что-нибудь особенное, спуститесь вниз к Ланцету, хирургу. Он у нас помещает объявление, и мы с ним сладим счета посредством взаимных услуг».

Он ушел. Меня пробирала дрожь. В течение трех часов я пережил столько ужасных опасностей, что весь мой душевный мир и веселость навсегда покинули меня.

Пришел Джильспен и выбросил меня в окно. Джонс был пунктуален, и когда я хотел отдуть его плетью, он принял на себя этот

bill of fare, I had lost my scalp. Another stranger, by the name of Thompson, left me a mere wreck and ruin of chaotic rags. And at last, at bay in the corner, and beset by an infuriated mob of editors, blacklegs, politicians, and desperadoes, who raved and swore and flourished their weapons about my head till the air shimmered with glancing flashes of steel, I was in the act of resigning my berth on the paper when the chief arrived, and with him a rabble of charmed and enthusiastic friends. Then ensued a scene of riot and carnage such as no human pen, or steel one either, could describe. People were shot, probed, dismembered, blown up, thrown out of the window. There was a brief tornado of murky blasphemy, with a confused and frantic war-dance glimmering through it, and then all was over. In five minutes there was silence, and the gory chief and I sat alone and surveyed the sanguinary ruin that strewed the floor around us.

He said, "You'll like this place when you get used to it."

I said, "I'll have to get you to excuse me; I think maybe I might write to suit you after a while; as soon as I had had some practice and learned the language I am confident I could. But, to speak the plain truth, that sort of energy of expression has its inconveniences, and a man is liable to interruption.

"You see that yourself. Vigorous writing is calculated to elevate the public, no doubt, but then I do not like to attract so much attention as it calls forth. I can't write with comfort when I am interrupted so much as I have been to-day. I like this berth well enough, but I don't like to be left here to wait on the customers. The experiences are novel, I grant you, and entertaining, too, after a fashion, but they are not judiciously distributed. A gentleman shoots at you through the window and cripples me; a bomb-shell comes down the stovepipe for your gratification and sends the stove door down my throat; a friend drops in to swap compliments with you, and freckles me with bullet-holes till my skin won't hold my principles; you go to dinner, and Jones comes with his cowhide, Gillespie throws me out of the window, Thompson tears all my clothes off, and an entire stranger takes my scalp with the easy freedom of an old acquaintance; and in less than five minutes all the blackguards in the country arrive in their war-paint, and proceed to scare the rest of me to death with their tomahawks. Take it altogether, I never had such a spirited time in all my life as I have had to-day. No; I like you, and I like your calm unruffled way of explaining things to the customers, but you see I am not used to it. The Southern heart is too impulsive; Southern hospitality is too lavish with the stranger. The paragraphs which I have written to-day, and into

труд. При стычке с каким-то субъектом, имя которого не находилось в списке, я потерял кожу со своей головы. После посещения другого незнакомца по имени Томпсон я имел вид какого-то забракованного товара, какой-то руины в лоскутьях. В конце концов, я был загнан в угол и осажден целою толпою политиканов, издателей, мошенников и всяких негодяев, которые неистовствовали, ругались, сыпали проклятья и потрясали надо мною оружием, так что даже комната озарилась светом от блестящих стальных клинков. Я был уже готов отказаться от своего места при газете, как вдруг вошел мой патрон, а с ним целый рой прекрасных и восторженных друзей. Затем последовала какая-то схватка и резня, которую не в состоянии описать никакое перо, даже стальное. Люди расстреливались, прокалывались, разрубались на куски, выбрасывались в окно. Пронесся какой-то мрачный вихрь, сквозь который можно было различить только какой-то нелепый военный танец, и... все успокоилось. Через пять минут наступила тишина, и лишь кроважадный редактор да я облизали кровь и разрушение, царившие вокруг нас.

Он сказал: «Я думаю, вам понравится ваше место, когда вы привыкните к таким вещам».

Я ответил: «Я должен перед вами извиниться. Я думаю, что, быть может, мне удалось бы научиться писать, как вы желаете, да, я уверен, что достиг бы этого, попрактиковавшись достаточно и изучив язык. Но, говоря откровенно, этот энергический способ выражения имеет свои неудобства и может иногда являться помехой делу. Вы сами это видите. Энергичный способ писания, без сомнения, поднимает дух общества, но мне не нравится, что он привлекает на пишущего такое внимание. Я не могу писать с надлежащим спокойствием и комфортом, если меня так часто прерывают, как сегодня, например. Местом при газете я доволен, но мне не нравится, что мне одному представляют принимать посетителей. Признаюсь, занятия здесь новы для меня и интересны, но они неравномерно распределены. Один джентльмен стреляет через окно в вас и калечит *меня*. Кто-то, чтобы доставить вам удовольствие, бросает в трубу бомбу, печная же заслонка летит мне в загривок. Врывается ваш друг, чтобы обменяться с вами комплиментами, и так продырявливает меня своими пулями, что кожа скоро, кажется, будет не в состоянии сдерживать мое тело. Вы уходите обедать, а в это время является Джонс со своими кнутами, Томпсон срывает с меня все платье, какой то незнакомец с бесцеремонностью старого приятеля снимает скальп с

whose cold sentences your masterly hand has infused the fervent spirit of Tennesseean journalism, will wake up another nest of hornets. All that mob of editors will come – and they will come hungry, too, and want somebody for breakfast. I shall have to bid you adieu. I decline to be present at these festivities. I came South for my health, I will go back on the same errand, and suddenly. Tennesseean journalism is too stirring for me."

After which we parted with mutual regret, and I took apartments at the hospital.

<http://www.readbookonline.net/readOnLine/1562/>

Luck (1886)

[NOTE. – This is not a fancy sketch. I got it from a clergyman who was an instructor at Woolwich forty years ago, and who vouched for its truth. – M.T.]

It was at a banquet in London in honour of one of the two or three conspicuously illustrious English military names of this generation. For reasons which will presently appear, I will withhold his real name and titles, and call him Lieutenant-General Lord Arthur Scoresby, V.C., K.C.B., etc., etc., etc. What a fascination there is in a renowned name! There say the man, in actual flesh, whom I had heard of so many thousands of times since that day, thirty years before, when his name shot suddenly to the zenith from a Crimean battle-field, to remain for ever celebrated. It was food and drink to me to look, and look, and look at that demigod; scanning, searching, noting: the quietness, the reserve, the noble gravity of his countenance; the simple honesty that expressed itself all over him; the sweet unconsciousness of his greatness--unconsciousness of

моей головы. Наконец, врываются в полном вооружении негодяи со всей страны и своими томагавками до смерти напугивают все, что от меня осталось. Я во всю свою жизнь не переживал такого тревожного времени, как сегодня. Вы мне нравитесь, мне нравится также ваша тихая, спокойная манера объясняться с посетителями, но я вижу, что никогда не усвою ее. Сердце южанина чересчур легко возбуждается, а гостеприимство его чересчур расточительно. Написанные мною сегодня заметки, в холодную форму которых ваша мастерская рука влила всю пыль журналистики Теннесси, опять расшевелият все это осиное гнездо. Завтра опять явится вся ватага редакторов; явится она, наверно, голодной, будет требовать что-нибудь закусить. Я вынужден распрощаться с вами и отказаться от чести присутствовать на подобных торжествах. Приехал я на юг здоровья ради, по этой же причине уезжаю обратно. Журналистика в Теннесси слишком живое дело – оно не по мне».

Перевод опубликован в «Сибирском вестнике», 1896, № 200 (13 сентября). С. 2–3.

Счастье

Это было на одном банкете в Лондоне, данном в честь одной из величайших английских военных знаменитостей. По некоторым соображениям – читатель скоро сам о них догадается – я скрою истинное имя героя, которым здесь все так восторгаются. Я удовлетворюсь лишь тем, что буду звать его генерал-лейтенантом лордом Артуром Скоресби. Я знаю, читателю было бы очень интересно узнать истинное имя героя, – сколько прелести и обаяния таится в великих именах! – но я, тем не менее, не могу его назвать: я дал слово не упоминать его имени и должен его сдержать.

Банкет приближался уже к концу, но я еще не дотронулся ни до одного из блюд или бокалов, которых здесь было бесконечное множество. Взрыв энтузиазма, с которым все присутствовавшие здесь чествовали героя дня, меня совершенно оглушил. Речи и спичи, восклицания и поздравления сыпались без конца. Ораторы перебивали друг друга и чуть не дрались между собою, так как каждому хотелось пораньше, поскорее высказать волнующие его чувства. Вспоминали мельчайшие детали из его военной деятельности и в каждой

the hundreds of admiring eyes fastened upon him, unconsciousness of the deep, loving, sincere worship welling out of the breasts of those people and flowing toward him.

The clergyman at my left was an old acquaintance of mine – clergyman now, but had spent the first half of his life in the camp and field, and as an instructor in the military school at Woolwich. Just at the moment I have been talking about, a veiled and singular light glimmered in his eyes, and he leaned down and muttered confidentially to me-- indicating the hero of the banquet with a gesture, –"Privately – his glory is an accident – just a product of incredible luck."

This verdict was a great surprise to me. If its subject had been Napoleon, or Socrates, or Solomon, my astonishment could not have been greater.

Some days later came the explanation of this strange remark, and this is what the Reverend told me.

About forty years ago I was an instructor in the military academy at Woolwich. I was present in one of the sections when young Scoresby underwent his preliminary examination. I was touched to the quick with pity; for the rest of the class answered up brightly and handsomely, while he – why, dear me, he didn't know anything, so to speak. He was evidently good, and sweet, and lovable, and guileless; and so it was exceedingly painful to see him stand there, as serene as a graven image, and deliver himself of answers which were veritably miraculous for stupidity and ignorance. All the compassion in me was aroused in his behalf. I said to myself, when he comes to be examined again, he will be flung over, of course; so it will be simple a harmless act of charity to ease his fall as much as I can.

I took him aside, and found that he knew a little of Caesar's history; and as he didn't know anything else, I went to work and drilled him like a galley-slave on a certain line of stock questions concerning Caesar which I knew would be used. If you'll believe me, he went through with flying colours on examination day! He went through on that purely superficial 'cram', and got compliments, too, while others, who knew a thousand times more than he, got plucked. By some strangely lucky accident – an accident not likely to happen twice in a century – he was asked no question outside of the narrow limits of his drill.

It was stupefying. Well, although through his course I stood by him, with something of the sentiment which a mother feels for a crippled child; and he always saved himself – just by miracle, apparently.

из них видели творчество гения. Его называли величайшим человеком века и гордостью нации. Каждый считал своим долгом восхвалить заслуги героя перед отечеством и засвидетельствовать перед ним свое глубокое к нему уважение. Шум стоял невообразимый, в этом хаосе было трудно разобраться не только постороннему лицу, но и мне, присутствовавшему здесь с самого начала торжества. Все лица были разгорячены и опьянены, все глаза были устремлены в одну точку и все голоса слились в один неудержимо мчащийся поток, каждая капля которого отражала какой-нибудь блестящий момент из жизни этого необыкновенного человека. А он сидел в противоположном от меня конце стола, такой молчаливый и скромный, как будто не понимал, о ком здесь говорят. Его лицо выражало не то недоумение, не то испуг, и только каждый раз он как-то неловко кланялся то тому, то другому оратору, превозносившему его до небес.

Около меня, с левой стороны, сидел мой старый знакомый пастор. Этот пастор был когда-то профессором военной академии в Вульвиге, а затем добрую половину своей деятельности он провел на полях сражений и в лагерях. Теперь он был церковным пастырем в одной из аристократических церквей в Лондоне и присутствовал на банкете, как один из лучших знакомых лорда Артура Скоресби. Только он один во все время торжества сохранял удивительное спокойствие, не заражаясь несколько настроением своих многочисленных соседей. Мне даже казалось, что лицо его выражало какую-то грусть и тоску, и я никак не мог понять причины его такого мрачного состояния духа.

В тот самый момент, когда все были особенно увлечены героем, этот пастор наклонился ко мне и, указывая жестом на виновника торжества, глухо проговорил мне на ухо: «Между нами говоря, вся его слава и блеск – дело удивительного, необычайного счастья, результат невероятного случая!»

Сознаюсь, что я должен был собрать всю свою силу воли и присутствие духа, чтобы не вскрикнуть при этом открытии. Если бы тот, о ком шла речь, был сам Наполеон, Сократ или Соломон, я не был бы менее поражен. Будь на месте пастора другой, я не придавал бы его словам ни малейшего значения и был бы уверен, что здесь говорят зависть и мелкое эгоистическое чувство, но здесь дело обстояло иначе. Это сказал пастор, человек безукоризненной честности и безусловной правдивости. Я был в недоумении и несколько раз обращался к нему за разъяснениями этих странных слов, но он ограничился ответом: «Когда-нибудь в другой раз!»

Now of course the thing that would expose him and kill him at last was mathematics. I resolved to make his death as easy as I could; so I drilled him and crammed him, and crammed him and drilled him, just on the line of questions which the examiner would be most likely to use, and then launched him on his fate. Well, sir, try to conceive of the result: to my consternation, he took the first prize! And with it he got a perfect ovation in the way of compliments.

Sleep! There was no more sleep for me for a week. My conscience tortured me day and night. What I had done I had done purely through charity, and only to ease the poor youth's fall – I never had dreamed of any such preposterous result as the thing that had happened. I felt as guilty and miserable as the creator of Frankenstein. Here was a wooden-head whom I had put in the way of glittering promotions and prodigious responsibilities, and but one thing could happen: he and his responsibilities would all go to ruin together at the first opportunity.

The Crimean war had just broken out. Of course there had to be a war, I said to myself: we couldn't have peace and give this donkey a chance to die before he is found out. I waited for the earthquake. It came. And it made me reel when it did come. He was actually gazetted to a captaincy in a marching regiment! Better men grow old and gray in the service before they climb to a sublimity like that. And who could ever have foreseen that they would go and put such a load of responsibility on such green and inadequate shoulders? I could just barely have stood it if they had made him a cornet; but a captain – think of it! I thought my hair would turn white.

Consider what I did – I who so loved repose and inaction. I said to myself, I am responsible to the country for this, and I must go along with him and protect the country against him as far as I can. So I took my poor little capital that I had saved up through years of work and grinding economy, and went with a sigh and bought a cornetcy in his regiment, and away we went to the field.

And there – oh dear, it was awful. Blunders? why, he never did anything but blunder. But, you see, nobody was in the fellow's secret – everybody had him focused wrong, and necessarily misinterpreted his performance every time – consequently they took his idiotic blunders for inspirations of genius; they did honestly! His mildest blunders were enough to make a man in his right mind cry; and they did make me cry – and rage and rave too, privately. And the thing that kept me always in a sweat of apprehension was the fact that every fresh blunder he made in

Несколько дней спустя я встретил преподобного. Вот что он мне рассказал.

Сорок с лишним лет тому назад я был профессором военной академии в Вульвиге. В конце одного учебного года – не помню, которого именно – я находился в экзаменационной комиссии, перед которой молодой Скоресби должен был предстать перед окончанием академии. Это была предварительная экзаменационная комиссия. Я великолепно помню, как весь класс блестяще отвечал, в то время как Скоресби – увы! – ничего решительно не знал. Больно было смотреть, как этот добрый, хороший парень стоял перед нами как пень и говорил ужасные глупости. Он даже, видимо, не понимал, о чем его спрашивают. Я очень его жалел и думал, каким образом прийти ему на помощь?

Я думал: «После экзаменов все будут над ним насмехаться, все будут к нему придирааться. Принести ему какую-нибудь пользу, сделать его неудачи менее тяжелыми будет с моей стороны актом простой любви к ближнему. Вреда ведь в этом нет никакого!»

И я принял в нем деятельное участие. Я позвал его к себе домой и тут только убедился, что из всей истории он только поверхностно был знаком с историей Цезаря. Это все, что он знал. Я заставил его работать, как каторжника. Он основательно изучил ответы на некоторые вопросы из истории Цезаря – те вопросы, которые впоследствии я же должен был ему на экзамене предложить.

Можете мне, дорогой друг, – продолжал преподобный, – верить: в день экзаменов Скоресби показал самые блестящие успехи. Он победоносно высказал свои поверхностные знания, которыми я его напичкал и был отличен похвалой, в то время как другие, действительно знавшие курс, позорно провалились. Благодаря странному случаю, который не повторяется два раза в сто лет, ему не задали ни одного вопроса помимо тех, которыми я его начинил.

Это было изумительно. В течение экзаменов я не отходил от него, как любящая мать, которая видит, что её сын каждую минуту может погибнуть в бою с более сильными. Но он сумел отделаться – какое-то сверхъестественное чудо его спасло.

Но это было не все. Предстояла еще математика, на которой он должен был бесповоротно провалиться. Я был уверен, что его положение безнадежно. Он ничего решительно не знал и к тому же был очень неспособен к ней. Я снова начал начинать его ответами на во-

creased the lustre of his reputation! I kept saying to myself, he'll get so high that when discovery does finally come it will be like the sun falling out of the sky.

He went right along up, from grade to grade, over the dead bodies of his superiors, until at last, in the hottest moment of the battle of.... down went our colonel, and my heart jumped into my mouth, for Scoresby was next in rank! Now for it, said I; we'll all land in Sheol in ten minutes, sure.

The battle was awfully hot; the allies were steadily giving way all over the field. Our regiment occupied a position that was vital; a blunder now must be destruction. At this critical moment, what does this immortal fool do but detach the regiment from its place and order a charge over a neighbouring hill where there wasn't a suggestion of an enemy! "There you go!" I said to myself; "this is the end at last."

And away we did go, and were over the shoulder of the hill before the insane movement could be discovered and stopped. And what did we find? An entire and unsuspected Russian army in reserve! And what happened? We were eaten up? That is necessarily what would have happened in ninety-nine cases out of a hundred. But no; those Russians argued that no single regiment would come browsing around there at such a time. It must be the entire English army, and that the sly Russian game was detected and blocked; so they turned tail, and away they went, pell-mell, over the hill and down into the field, in wild confusion, and we after them; they themselves broke the solid Russia centre in the field, and tore through, and in no time there was the most tremendous rout you ever saw, and the defeat of the allies was turned into a sweeping and splendid victory! Marshal Canrobert looked on, dizzy with astonishment, admiration, and delight; and sent right off for Scoresby, and hugged him, and decorated him on the field in presence of all the armies!

And what was Scoresby's blunder that time? Merely the mistaking his right hand for his left--that was all. An order had come to him to fall back and support our right; and instead he fell forward and went over the hill to the left. But the name he won that day as a marvellous military genius filled the world with his glory, and that glory will never fade while history books last.

He is just as good and sweet and lovable and unpretending as a man can be, but he doesn't know enough to come in when it rains. He has been pursued, day by day and year by year, by a most phenomenal and astonishing luckiness. He has been a shining soldier in all our wars for half a

просы, которые, мне казалось, ему будут на экзаменах задавать профессор. Он усердно работал и отправился на экзамен.

И подумайте, поймите, наконец, что произошло! К моему необычайному смущению он выдержал экзамен первым!

Ему устроили оvation и выдали диплом с особою пометкою об отличном окончании экзамена.

В течение целой недели я не мог уснуть. Совесть упрекала меня день и ночь. Я действовал исключительно из любви к ближнему, чтобы облегчить падение этого несчастного молодого человека, но я никогда не мог предположить того, что произошло. Это была деревянная башка, которую я вывел на дорогу и которой, благодаря мне, предстояла самая блестящая будущность. И вся тяжелая ответственность за его деятельность лежала на мне. Я считал себя виноватым за те гнусности, которые он в будущем натворит.

Надеяться на то, что он не получит ответственного поста, было трудно: его диплом открывал ему для этого самую широкую военную карьеру. Таким образом, я утешал себя только тем, что в первом же важном деле он выкажет свою глупость, которая и положит предел его дальнейшему движению вверх. Вы понимаете, почему я не упустил его из виду: я был слишком заинтересован в его судьбе.

Вскоре после этого началась крымская кампания.

«Мы будем иметь войну, – сказал я себе, – и Скоресби получит, вероятно, важное назначение. Как было бы хорошо, если бы этот осел исчез раньше, чем выкажет свои способности!»

И как вы думаете? Скоресби получил чин капитана в одном из походных полков! Этого было уж слишком много! Многие из верных служак стареют и седеют прежде, чем добратся до этого чина, а он? – Это он сделал! Кто мог когда-нибудь надеяться, что на плечи такого молодого и ненадежного человека нашьют такие эполеты?! Я помирился бы с тем, чтобы Скоресби назначить корнетом, но сразу попасть в капитаны – подумайте-ка?! Моему горю не было пределов, я ужасался при мысли об его будущих распоряжениях.

Нужно было что-нибудь предпринять. И вот что я считал себя обязанным сделать, я, такой страстный любитель покоя и свободы, которыми я пользовался в академии.

Я сказал себе: «Я ответствен перед моей родиной за этого Скоресби. Если бы не я, он не был бы капитаном, а его место занял бы более способный человек. Я обязан идти с этим Скоресби, чтобы помогать ему своими советами, поскольку это будет в моих силах».

generation; he has littered his military life with blunders, and yet has never committed one that didn't make him a knight or a baronet or a lord or something. Look at his breast; why, he is just clothed in domestic and foreign decorations. Well, sir, every one of them is a record of some shouting stupidity or other; and, taken together, they are proof that the very best thing in all this world that can befall a man is to be born lucky.

<http://www.readbookonline.net/readOnLine/994/>

И я распродал все, чем владел, и купил себе на вырученную сумму место корнета в том полку, где он был капитаном. Мы отправились на войну.

А затем произошли ужасные события. Ошибки на ошибках. Скоресби делал только одни глупости и ошибки, но никто их не замечал. Никто не знал самой сути его действий. Все верили ему на слово и удивлялись его уму и изобретательности. Его гнусную ложь принимали за вдохновение гения. Достаточно было ему ступить шаг, чтобы все, совершенно здоровые и умные люди, кричали об его заслугах. Я был вне себя. Я не знал, что мне делать. Хорошо, что его глупости пока сходили, но ведь всему бывает предел! Он может наворить таких вещей, за которые дорого придется расплачиваться!.. Я приходил в отчаяние, я кричал, я бесился, на меня часто находило такое состояние, когда хочется от горя разбить себе голову о первый встречный камень!.. И что меня более всего ужасало, что бросало меня в холод и пот, это – то, что с каждой его ошибкой, с каждой его глупостью его репутация только возрастала!

Я сказал себе: «Он поднимается так высоко, что в один прекрасный день, как метеор, слетит на землю и разобьется вдребезги!»

Но этот день не приходил. Он быстро поднимался от чина к чину через трупы своих высших начальников, пока в одной горячей битве под N, не погиб его полковник.

Можете себе, дорогой друг, представить мое состояние, когда я узнал, что именно Артур Скоресби назначен вместо павшего!

«Теперь, – сказал я себе, – все кончено! Через каких-нибудь 10 минут нас изрубят в котлеты, а наша кровь послужит отличным удобрением для русской земли! Мы можем помолиться в последний раз!»

В это время по всему фронту шел горячий бой. Такого упорного, такого ожесточенного сражения еще не было с самого начала войны. Поле сражения превратилось в озеро крови, в котором плавали мертвые и умирающие. Русские дрались, как львы, и ничто, казалось, не способно было сломить их храбрость. Союзные войска медленно, шаг за шагом, отступали. Употребляли последние усилия, напрягались до изнеможения, но все казалось тщетным. Наш полк занимал одну из самых главных позиций. Он прикрывал отступление нашего фронта и чуть ли не решал участь сражения. Было достаточно одной ничтожной ошибки, и союзники потерпели бы полное поражение. Разгром всей армии был бы неминуем. Момент был решительный.

Что же, вы думаете, в эту критическую минуту предпринимает наш безумный полковник?

Он отдает приказ полку оставить эту капитальную позицию и отправляться обстреливать соседнюю гору, на которой не было ни малейшего признака существования врага.

«В добрый час! – сказал я себе. – Теперь, наконец, все кончено!»

И мы отправились, и мы дошли до вершины горы прежде, чем это безумное движение было замечено и задержано. На горе было тихо и спокойно, и никто и не думал нам противодействовать.

Но – Боже, Боже! – что же представилось нашим глазам?

С другой стороны горы была расположена огромная русская резервная армия. Она была так превосходно скрыта, что о ней нельзя было и подозревать. Наступил последний момент. Не было никакого сомнения, что мы по глупости нашего начальника попали в ловушку и что через одну минуту мы все до одного будем уничтожены.

Да, друг мой, именно это должно было произойти в девяноста девяти случаях из ста!

Но – нет! Русские не догадались – да никто в мире и не мог бы догадаться! – что нас всего один полк. Было бы безумием подумать, что в такую критическую минуту, в таком опасном месте появилась такая ничтожная горсть людей. Это было бы прямо дерзостью! Нет никакого сомнения: это целая английская армия открыла их убежище и напала на них врасплох с целью либо взять их всех в плен, либо истребить их раньше, чем они успеют выстроиться!..

И началась суматоха! Они моментально повернули и побежали через поле в беспорядочном замешательстве под нашим преследованием, оставив в нашем распоряжении гору и массу оружия и боевых припасов. Поражение было отчаянное! Они сами прорвали так крепко державшийся собственный центр, сбили его с позиции и, минуту спустя, – их бегство сделалось грандиозным! Мы никогда не могли и помышлять о таком страшном ударе. Полное, почти уже обеспеченное поражение союзных войск превратилось в одно мгновение в блестящую, неслыханную победу!

Маршал Канробер не верил своим глазам. Ему казалось, что все это – сон. Но это был факт, и ему оставалось только радоваться. И он безумно радовался и ликовал, как радовались и ликовали все союзные войска. Он тотчас же позвал Артура Скоресби к себе, приказал армиям выстроиться, как к параду, и в присутствии всех союзных войск обнял его, расцеловал и украсил его грудь новым орденом.

Вы меня, быть может, спросите, каким образом он совершил эту счастливую глупость?

Очень просто: он принял свой правый фланг за левый. Это было все. Он получил приказ медленно отступать и драться, защищая правый фланг, к которому и должен был приблизиться. А он, наоборот, отодвинулся налево, прямо к горе. И этот глупый и ошибочный шаг создал ему славу военного гения, которая покатилась по обоим полушариям и будет существовать до той поры, пока останется хоть одна книга по истории. Вы видите, как случайно блеснула его слава почти сорок лет тому назад, и теперь она достигла своего зенита, с которого уже никогда не сойдет.

А он остался таким, каким был. Это – всегда добрый, хороший, любезный человек, но он не способен понять, что нужно войти в дом, когда на улице дождь. И так день за днем, год за годом его преследовало самое невероятное, самое феноменальное счастье, поднимавшее его все выше и выше. В течение тридцати лет он блистал во всех наших войнах, как первоклассный военный гений.

Эта ошибка в Крыму была одна из самых тяжелых его военных ошибок, и у него не было ни одной ошибки, которая не принесла бы ему славы, баронства, лордства или каких-нибудь других почестей.

Посмотрите на его грудь: она сияет всеми национальными и иностранными звездами и орденами. Да, милостивый государь, каждое из этих отличий – свидетельство какой-нибудь новой его глупости, а все они вместе доказывают только одно: лучшая доля в этом лучшем из миров – родиться счастливым!

P.S. Все, что я рассказал, – не вымышленная для удовольствия история. Я узнал ее от одного пастора, который сорок лет тому назад был профессором военной академии в Вульвиге. Этот пастор – честнейший из людей, и он уверял меня, что все это – истина.

Е. Галка

Перевод опубликован в «Сибирской жизни», 1905, № 215 (27 октября). С. 2–3.

Mrs. Mc Williams and The Lightning (1880)

Well, sir, – continued Mr. McWilliams, for this was not the beginning of his talk; – the fear of lightning is one of the most distressing infirmities a human being can be afflicted with. It is mostly confined to women; but now and then you find it in a little dog, and sometimes in a man. It is a particularly distressing infirmity, for the reason that it takes the sand out of a person to an extent which no other fear can, and it can't be reasoned with, and neither can it be shamed out of a person. A woman who could face the very devil himself – or a mouse – loses her grip and goes all to pieces in front of a flash of lightning. Her fright is something pitiful to see.

Well, as I was telling you, I woke up, with that smothered and unlo-catable cry of "Mortimer! Mortimer!" wailing in my ears; and as soon as I could scrape my faculties together I reached over in the dark and then said, –

"Evangeline, is that you calling? What is the matter? Where are you?"

"Shut up in the boot-closet. You ought to be ashamed to lie there and sleep so, and such an awful storm going on."

"Why, how can one be ashamed when he is asleep? It is unreasonable; a man can't be ashamed when he is asleep, Evangeline."

"You never try, Mortimer, – you know very well you never try."

I caught the sound of muffled sobs.

That sound smote dead the sharp speech that was on my lips, and I changed it to –

"I'm sorry, dear, – I'm truly sorry. I never meant to act so. Come back and –"

"MORTIMER!"

"Heavens! what is the matter, my love?"

"Do you mean to say you are in that bed yet?"

"Why, of course."

"Come out of it instantly. I should think you would take some little care of your life, for my sake and the children's, if you will not for your own."

"But my love –"

"Don't talk to me, Mortimer. You know there is no place so dangerous as a bed, in such a thunder-storm as this, – all the books say that; yet

Молния

«Конечно, конечно, – произнес говоривший уже с четверть часа мистер Мак Вильямс, пока поезд мчался вперед с необычайной быстротой. – Конечно, из всех недугов, которыми способен страдать человек, страх перед молнией – один из наиболее ужасных. Им страдают по большей части женщины, но нельзя сказать, чтобы он вовсе не встречался у мужчин. Болезнь эта особенно характерна: она до такой степени поражает свою жертву, до какой ее не способен довести ни один из других видов страха. Так, например, каждый знает, что женщина способна гордо и смело смотреть самому черту в глаза, но при блеске молнии она теряет всякое равновесие... она переходит в состояние детства и возбуждает к себе одну только жалость».

– Я уже говорил вам, мистер Твэн, что в эту ночь я внезапно проснулся, услышав зовущий меня душу раздирающий голос, места отправления которого я никак не мог определить.

Этот пронизывающий голос безумно кричал: «Мортимер! Мортимер!»

И лишь только я спросонок сделался способным рассуждать, я принялся в густой тьме искать и звать свою жену: «Эванжелина! Эванжелина! Где вы? В чем дело?»

Она ответила: «Я в шкапу из-под обуви. Вы спокойно спите во время такой ужасной грозы, вы покраснели бы хотя от стыда!..»

– Но как же я могу покраснеть во время сна? Я этого никак не пойму... Эванжелина, вам должно быть известно, что во время сна человек не может краснеть от стыда.

– Конечно, вы этого никогда не испытывали, и не мне уж, конечно, предлагать вам делать такого рода испытания!..

На несколько мгновений воцарилась тишина, вслед за которой я услышал глухие задвленные стоны.

– Мортимер! Мортимер!

– В чем дело, дорогая?

– Я хотела бы знать, хватает ли еще у вас смелости оставаться в постели?

– Конечно...

– Вы немедленно должны оставить ее! Я думала, что вы гораздо более дорожите своей жизнью... Вставайте, Мортимер!.. Слышите? Вы обязаны это сделать, если не для себя лично, то ради меня и наших крошек!

there you would lie, and deliberately throw away your life, – for goodness knows what, unless for the sake of arguing and arguing, and –"

"But, confound it, Evangeline, I'm not in the bed, now. I'm –"

[Sentence interrupted by a sudden glare of lightning, followed by a terrified little scream from Mrs. McWilliams and a tremendous blast of thunder.]

"There! You see the result. Oh, Mortimer, how can you be so profligate as to swear at such a time as this?"

"I didn't swear. And that wasn't a result of it, any way. It would have come, just the same, if I had n't said a word; and you know very well, Evangeline, – at least you ought to know, – that when the atmosphere is charged with electricity –"

"Oh, yes, now argue it, and argue it, and argue it! – I don't see how you can act so, when you know there is not a lightning-rod on the place, and your poor wife and children are absolutely at the mercy of Providence. What are you doing? – lighting a match at such a time as this! Are you stark mad?"

"Hang it, woman, where's the harm? The place is as dark as the inside of an infidel, and –"

"Put it out! put it out instantly! Are you determined to sacrifice us all? You know there is nothing attracts lightning like a light. [Fzt! – crash! boom – boloom-boom-boom!] Oh, just hear it! Now you see what you've done!"

"No, I don't see what I've done. A match may attract lightning, for all I know, but it don't cause lightning, – I'll go odds on that. And it didn't attract it worth a cent this time; for if that shot was levelled at my match, it was blessed poor marksmanship, – about an average of none out of a possible million, I should say. Why, at Dollymount, such marksmanship as that –"

"For shame, Mortimer! Here we are standing right in the very presence of death, and yet in so solemn a moment you are capable of using such language as that. If you have no desire to – Mortimer!"

"Well?"

"Did you say your prayers to-night?"

"I – I – meant to, but I got to trying to cipher out how much twelve times thirteen is, and –"

[Fzt! – boom – berroom – boom! Bumble-umble bang – SMASH!]

"Oh, we are lost, beyond all help! How could you neglect such a thing at such a time as this?"

– Но, милая...

– Замолчите, ради Бога!.. Вы так же хорошо, как и я, знаете, что нет более опасного места во время грозы, чем кровать. Об этом пишут во всех книгах, и вы сотни раз уже читали про это! Но, несмотря на это, вы все-таки спите в такую ужасную пору и обрекаете свою жизнь Бог знает чему... Почему?.. С единственной целью мучить меня, перечить мне и самому наслаждаться моими страданиями.

– Эвангелина!.. Что вы? Как вы можете меня так укорять?.. И раньше всего – я в эту минуту вовсе не сплю... кля...

Я не успел еще окончить этой фразы, как комната на мгновение ярко осветилась блеснувшей молнией, а вслед за нею раздался оглушительный раскат грома и душераздирающий крик госпожи Мак Вильямс.

– А?.. Что, вы довольны результатами?.. И у вас хватает дерзости в такую минуту клясться?!.. О, Боже!..

– Но я ведь еще не клялся... и, наконец, ведь не моя же клятва, во всяком случае, разразилась этим громом... гром гремит независимо от меня... вы прекрасно знаете, что когда атмосфера насыщена электричеством...

– Да, да... теперь самая подходящая минута для таких рассуждений... Я решительно не понимаю, как вы, зная, что нигде вблизи нас нет ни малейшего признака громоотвода и что ваша жена и несчастные дети находятся всецело в руках Провидения, позволяете себе такие легкомысленные выходки!.. Но, Боже, что это вы делаете?.. Вы зажигаете спичку?.. В такую пору?.. Что с вами?.. Вы рехнулись?..

– Черт знает, что такое! Ну какая от неё, от спички, беда?.. В комнате темно, как в печной трубе...

– Потушите ее, Мортимер!.. Слышите?.. Немедленно тушите ее... если только вы не решили пожертвовать всеми нами... Вы знаете, что ничего так не притягивает молнию, как свет...

Гром снова загредел.

Ффррт!... Кккряаккбумм... бумм... буммм!...

– Слышите?.. Видите, что вы делаете?..

– Нет, я ничего решительно не вижу. Спичка может притянуть молнию, но вы никогда не убедите меня в том, что она может явиться её причиной. Во всяком случае, моя спичка ничего не притянула: молния блеснула в это именно мгновение, когда я потерял её о коробку. Я в этом глубоко убежден и готов заложить миллион против одного гроша...

"But it wasn't 'such a time as this.' There wasn't a cloud in the sky. How could I know there was going to be all this rumpus and pow-wow about a little slip like that? And I don't think it's just fair for you to make so much out of it, anyway, seeing it happens so seldom; I haven't missed before since I brought on that earthquake, four years ago."

"MORTIMER! How you talk! Have you forgotten the yellow fever?"

"My dear, you are always throwing up the yellow fever to me, and I think it is perfectly unreasonable. You can't even send a telegraphic message as far as Memphis without relays, so how is a little devotional slip of mine going to carry so far? I'll stand the earthquake, because it was in the neighborhood; but I'll be hanged if I'm going to be responsible for every blamed—"

[Fzt! – BOOM beroom-boom! boom! – BANG!]

"Oh, dear, dear, dear! I know it struck something, Mortimer. We never shall see the light of another day; and if it will do you any good to remember, when we are gone, that your dreadful language – Mortimer!"

"WELL! What now?"

"Your voice sounds as if – Mortimer, are you actually standing in front of that open fireplace?"

"That is the very crime I am committing."

"Get away from it, this moment. You do seem determined to bring destruction on us all. Don't you know that there is no better conductor for lightning than an open chimney? Now where have you got to?"

"I'm here by the window."

"Oh, for pity's sake, have you lost your mind? Clear out from there, this moment. The very children in arms know it is fatal to stand near a window in a thunder-storm. Dear, dear, I know I shall never see the light of another day. Mortimer?"

"Yes?"

"What is that rustling?"

"It's me."

"What are you doing?"

"Trying to find the upper end of my pantaloons."

"Quick! throw those things away! I do believe you would deliberately put on those clothes at such a time as this; yet you know perfectly well that all authorities agree that woolen stuffs attract lightning. Oh, dear, dear, it isn't sufficient that one's life must be in peril from natural causes, but you must do everything you can possibly think of to augment the danger. Oh, don't sing! What can you be thinking of?"

– Вы хотя бы постыдились!.. Вы видите, что мы переживаем теперь трагически-торжественную минуту – перед нами сама смерть, а вы позволяете себе болтать такие... И если вы не сожалеете...

– Я?.. Кого?.. Что?..

– Вы молились вчера вечером?

– У меня, признаться, было такое намерение, но в самую минуту начала молитвы мне вдруг влетела в голову мысль, сколько составит 12×13, а потом...

Ффритть!.. Бумм!... бумм... бумм!.. Кыррааакк!..

– О, все погибло!.. Нет более спасения!.. Боже мой, что делать?.. Мортимер, как это вы позволили себе пренебречь молитвою накануне такой страшной минуты, как теперь!..

– Но, милая Эвангелина, ведь вчера вечером была прелестная погода, а на небе не было ни одного облачка!.. Как же я мог за несколько часов угадать то, что происходит теперь?!.. И, наконец, ведь такого ужаса не было уже четыре года – с самого землетрясения!..

– Что вы говорите?.. А желтая лихорадка, которую мы пережили три года назад...

– Желтая лихорадка!.. Какое вы имеете право вечно упрекать меня ею, как будто я был причиной этой несчастной болезни!.. Пусть разразится еще одно землетрясение, но я готов быть тысячу раз повешенным, чем принять на свою голову ответственность за все то, что совершается в этом проклятом ми...

Ффзтт!.. Биммг... бумм.. бум!.. Бооммм!..

– Ах! Видишь!.. Я уверена, что молния на этот раз упала в двух шагах от нас... Мортимер, мы не увидим уже рассвета дня... а если бы вы сохранили еще способность немного чувствовать, я сказала бы вам, что ваша жестокая суровость... О, Мортимер!..

– Что еще? Чего вам...

– Ваш голос звучит, как будто... Не находитесь ли вы теперь у камина?!..

– Да... я в данную минуту совершаю именно это преступление...

– Уходите немедленно оттуда!.. Скорее!.. Вы как будто умышленно стараетесь погубить себя. Вы отлично знаете, что нет лучших проводников электричества, как эти сообщающиеся с внешним воздухом каминные... Где вы теперь?..

– ...у окна...

– Великий Бог! Он у окна!.. Вы окончательно потеряли рассудок!.. Уходите немедленно от окна!.. весь свет, даже грудные дети

"Now where's the harm in it?"

"Mortimer, if I have told you once, I have told you a hundred times, that singing causes vibrations in the atmosphere which interrupt the flow of the electric fluid, and – What on earth are you opening that door for?"

"Goodness gracious, woman, is there is any harm in that?"

"Harm? There's death in it. Anybody that has given this subject any attention knows that to create a draught is to invite the lightning. You haven't half shut it; shut it tight, – and do hurry, or we are all destroyed. Oh, it is an awful thing to be shut up with a lunatic at such a time as this. Mortimer, what are you doing?"

"Nothing. Just turning on the water. This room is smothering hot and close. I want to bathe my face and hands."

"You have certainly parted with the remnant of your mind! Where lightning strikes any other substance once, it strikes water fifty times. Do turn it off. Oh, dear, I am sure that nothing in this world can save us. It does seem to me that – Mortimer, what was that?"

"It was a da – it was a picture. Knocked it down."

"Then you are close to the wall! I never heard of such imprudence! Don't you know that there's no better conductor for lightning than a wall? Come away from there! And you came as near as anything to swearing, too. Oh, how can you be so desperately wicked, and your family in such peril? Mortimer, did you order a feather bed, as I asked you to do?"

"No. Forgot it."

"Forgot it! It may cost you your life. If you had a feather bed, now, and could spread it in the middle of the room and lie on it, you would be perfectly safe. Come in here, – come quick, before you have a chance to commit any more frantic indiscretions."

I tried, but the little closet would not hold us both with the door shut, unless we could be content to smother. I gasped awhile, then forced my way out. My wife called out, –

"Mortimer, something must be done for your preservation. Give me that German book that is on the end of the mantel-piece, and a candle; but don't light it; give me a match; I will light it in here. That book has some directions in it."

I got the book, – at cost of a vase and some other brittle things; and the madam shut herself up with her candle. I had a moment's peace; then she called out, –

"Mortimer, what was that?"

"Nothing but the cat."

знают, что нет ничего опаснее, как стоять у окна во время грозы... Да, нет никакого сомнения в том, что мы до утра не доживем!.. Все погибло!..

– Морр... Мортимер!..

– Ну?

– Я слышу какой-то страшный шум...

– Это я...

– Что вы там делаете?

– Я разыскиваю свои туфли и случайно двинул стулом...

– Вот!.. Вы нашли время, когда передвигать мебель... вы как будто не знаете, что приводите этим в колебание частицы воздуха... и что это во время грозы опаснее всего! О, как вы жестоки!.. Вам недостаточно того, что собственные силы природы обрекли нашу жизнь на верную гибель, вы всеми силами стараетесь еще лично содействовать ей в этом направлении... Ради Бога, не пойте теперь!.. Петь в такую пору!.. Что с вами?..

– А что вам до моего пения?..

– Я, кажется, уже тысячу раз говорила вам, что звуковые волны колеблют воздух... Что это?.. Вы открываете дверь?!

– Да... я совершаю именно это ужасное дело...

– Ужасное, вы говорите, дело?.. Вы совершаете этим просто убийство!.. Достаточно самых элементарных сведений, чтобы знать, что самое лучшее средство притянуть молнию – это устроить сквозняк... Вы еще не закрыли дверь?.. Вы не обращаете никакого внимания на мои слова!.. Заприте немедленно дверь... на замок!.. чтобы ветер не мог ее раскрыть... Ну!.. скорее, иначе мы все погибли! Боже, какой ужас быть во время грозы в одной комнате с таким луна-тиком!.. Что вы там еще делаете?!.

– Я хочу открыть фонтан... В этой комнате можно задохнуться, а вы велите запереть дверь... и окно... Здесь такая жара... Я хотел освежить комнату.

– Вы, очевидно, лишились последней капли мозгов... Вы не знаете, что молния девятю девять раз из ста падает именно в воду... Закройте фонтан!.. О!.. Потеряна всякая надежда на спасение... Что это?..

– Ничего...

– Но я слышу шум...

– Это... это картина... Я случайно уронил ее.

"The cat! Oh, destruction! Catch her, and shut her up in the washstand. Do be quick, love; cats are full of electricity. I just know my hair will turn white with this night's awful perils."

I heard the muffled sobbings again. But for that, I should not have moved hand or foot in such a wild enterprise in the dark.

However, I went at my task, – over chairs, and against all sorts of obstructions, all of them hard ones, too, and most of them with sharp edges, – and at last I got kitty cooped up in the commode, at an expense of over four hundred dollars in broken furniture and shins. Then these muffled words came from the closet: –

"It says the safest thing is to stand on a chair in the middle of the room, Mortimer; and the legs of the chair must be insulated, with non-conductors. That is, you must set the legs of the chair in glass tumblers. [Fzt! – boom – bang! – smash!] Oh, hear that! Do hurry, Mortimer, before you are struck."

I managed to find and secure the tumblers. I got the last four, – broke all the rest. I insulated the chair legs, and called for further instructions.

"Mortimer, it says, `Während eines Gewitters entferne man Metalle, wie z. B., Ringe, Uhren, Schlüssel, etc., von sich und halte sich auch nicht an solchen Stellen auf, wo viele Metalle bei einander liegen, oder mit andern Körpern verbunden sind, wie an Herden, Oefen, Eisengittern u. dgl.` What does that mean, Mortimer? Does it mean that you must keep metals about you, or keep them away from you?"

"Well, I hardly know. It appears to be a little mixed. All German advice is more or less mixed. However, I think that that sentence is mostly in the dative case, with a little genitive and accusative sifted in, here and there, for luck; so I reckon it means that you must keep some metals about you."

"Yes, that must be it. It stands to reason that it is. They are in the nature of lightning-rods, you know. Put on your fireman's helmet, Mortimer; that is mostly metal."

I got it and put it on, – a very heavy and clumsy and uncomfortable thing on a hot night in a close room. Even my night-dress seemed to be more clothing than I strictly needed.

"Mortimer, I think your middle ought to be protected. Won't you buckle on your militia sabre, please?"

I complied.

"Now, Mortimer, you ought to have some way to protect your feet. Do please put on your spurs."

– Уронил картину!.. Это значит, что вы находитесь теперь у стены! Я никогда не думала, что вы способны на такое безумие... Неужели вы не знаете, что стена – самый лучший проводник электричества?!.. Возможно ли, чтобы человек совершил столь преступную неосторожность?!.. Разве только для того, чтобы погубить всю свою семью!.. Мортимер, заказали ли вы, как я вас просила, пуховую перину?..

– Ах... нет... Клянусь, дорогая, что я позабыл о ней.

– Позабыл!.. А это может нам дорого стоить! Пуховая перина – лучший изолятор!.. Ее можно было бы положить посредине комнаты, усесться на ней и совершенно предохранить себя таким образом от опасности!.. Но вы позабыли!.. Идите сюда!.. Идите скорее сюда!..

Я поспешил повиноваться. Я забрался в шкаф, но он оказался слишком тесным для нас двоих, и через несколько мгновений я силой вырвался оттуда. Жена больше не звала меня туда.

– Мортимер, – произнесла она через минуту, – но мы все-таки должны применить какие-нибудь меры для нашего спасения. На камине немецкая книга, в которой можно найти несколько указаний на этот счет. Дайте мне эту книгу и свечу, но не зажигайте её... Я зажгу ее здесь...

Я ошупью достал немецкую книгу, разбив предварительно несколько безделушек, подал ее со свечой жене, которая принялась ее изучать.

Через несколько минут она снова начала:

– Мортимер, что вы опять делаете?

– Ничего. Это – кошка.

– Кошка?!.. Только этого не хватает! Боже!.. Заприте ее немедленно в комод или куда хотите... слышите? Схватите и заприте поскорее... Кошки притягивают электричество... Слышите?..

И она разразилась истерическими рыданиями. Мне ничего не оставалось делать, как пуститься в погоню за кошкой. И я с остервенением принялся за это дело, не обращая внимания на тьму, на столы, стулья и прочие бесчисленные препятствия, многие из которых были остроконечны и довольно увесисты... Через пять минут, однако, кошка была уже в комод и рвала на мелкие кусочки мое белье, за которое я лишь недавно заплатил 400 долларов.

Тогда из шкапа раздались такие слова: «Наиболее безопасное место во время грозы это – стоять посредине комнаты на стуле,

I did it, – in silence, – and kept my temper as well as I could.

"Mortimer, it says, 'Das Gewitter läuten ist sehr gefährlich, weil die Glocke selbst, sowie der durch das Läuten veranlasste Luftzug und die Höhe des Thurmes den Blitz anziehen könnten.' Mortimer, does that mean that it is dangerous not to ring the church bells during a thunder-storm?"

"Yes, it seems to mean that, – if that is the past participle of the nominative case singular, and I reckon it is. Yes, I think it means that on account of the height of the church tower and the absence of Luftzug it would be very dangerous (sehr gefährlich) not to ring the bells in time of a storm; and moreover, don't you see, the very wording –"

"Never mind that, Mortimer; don't waste the precious time in talk. Get the large dinner-bell; it is right there in the hall. Quick, Mortimer dear; we are almost safe. Oh, dear, I do believe we are going to be saved, at last!"

Our little summer establishment stands on top of a high range of hills, overlooking a valley. Several farm-houses are in our neighborhood, – the nearest some three or four hundred yards away.

When I, mounted on the chair, had been clanging that dreadful bell a matter of seven or eight minutes, our shutters were suddenly torn open from without, and a brilliant bull's-eye lantern was thrust in at the window, followed by a hoarse inquiry: –

"What in the nation is the matter here?"

The window was full of men's heads, and the heads were full of eyes that stared wildly at my night-dress and my warlike accoutrements.

I dropped the bell, skipped down from the chair in confusion, and said, –

"There is nothing the matter, friends, – only a little discomfort on account of the thunder-storm. I was trying to keep off the lightning."

"Thunder-storm? Lightning? Why, Mr. McWilliams, have you lost your mind? It is a beautiful starlight night; there has been no storm."

I looked out, and I was so astonished I could hardly speak for a while. Then I said, –

"I do not understand this. We distinctly saw the glow of the flashes through the curtains and shutters, and heard the thunder."

One after another of those people lay down on the ground to laugh, – and two of them died. One of the survivors remarked, –

"Pity you did n't think to open your blinds and look over to the top of the high hill yonder. What you heard was cannon; what you saw was the

ножки которого должны быть установлены на непроводниках... Устанавливайте стулья, Мортимер!»

Бумм!... Бруумм.... Брррууммм!.. Ффззиттррр!..

– Вы устанавливаете стулья, Мортимер?..

Мне удалось найти четыре стеклянных подграфинника и установить на них стул. Я обратился к жене за новыми инструкциями.

«Во время грозы, – начала она, – опасно держать при себе металлические вещи – кольца, ключи, часы...»

– Мг... Мне это кажется сомнительным... мне вообще кажется сомнительным все то, что говорится в немецких книгах...

– Вы, кажется, правы на этот раз... Ведь кольца, ключи и часы готовятся из тех же металлов, что и громоотводы... Можете оставить их при себе... Ах, да!.. Наденьте вашу медную пожарную каску – она тоже из металла и предохранит вас от молнии...

И я должен был повиноваться, хотя моя пожарная каска была необычайно тяжела... Мне показалось, что я уже окончательно обезопасил себя... Но какое заблуждение!..

«Мортимер, – снова начала жена, – ваша верхняя часть тела теперь уже изолирована, нужно подумать о туловище... Вам бы следовало надеть саблю... Ради Бога, наденьте ее!.. Умоляю вас, наденьте!..»

Я повиновался и поверх полного туалета надел португепю.

– Мортимер, а ноги?..

Я молча и еле сдерживая гнев, надел шпоры.

– Мортимер, слушайте, что я вам буду читать: «Производить во время грозы шум очень опасно, так как вибрации воздуха, и особенно те, которые производятся колокольным звоном, определяют некоторое направление его течения, по которому часто устремляется молния»... Не думаете ли вы, что автор хочет этим сказать, что во время грозы не мешает звонить в колокола?..

– Мне кажется, что это всецело зависит от высоты колокольни... но замечательно то, что автор в тексте не упоминает слова Lutzug... Следовательно...

– Ну так не будемте терять напрасно времени... Принесите сюда из передней наш большой обеденный колокол... Скорее же!.. Ах, дорогой, мне становится так хорошо и легко, когда я вспоминаю, что мы уже почти спасены... Наконец-то...

Наш дачный домик находится в наиболее высокой местности среди окружающих нас холмов, а ближайшая ферма удалена от нас, по крайней мере, за версту. Благодаря этому обстоятельству я мог, ни

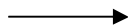
flash. You see, the telegraph brought some news, just at midnight: Garfield's nominated, – and that`s what`s the matter!"

Yes, Mr. Twain, as I was saying in the beginning (said Mr. McWilliams), the rules for preserving people against lightning are so excellent and so innumerable that the most incomprehensible thing in the world to me is how anybody ever manages to get struck.

So saying, he gathered up his satchel and umbrella, and departed; for the train had reached his town.

<https://www.unz.org/Pub/AtlanticMonthly-1880sep-00380>

Литература



Горенинцева В.Н. Рецепция английской и американской литературы в томской периодике конца XIX – начала XX вв.: дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 2009. – 218 с.

кого не стесняя, шуметь и делать у себя в доме, что мне угодно. И я, с тяжелым колоколом в руках, с пожарной каской на голове, с саблей на боку и шпорами на ногах, взобрался на изолированный стул.

Прошло не более семи или восьми минут, как я от злобы с каким-то диким усердием звонил в этот колокол, чтобы отвлечь в сторону молнию, как вдруг ставни одного из окон внезапно раскрылись снаружи, и уличный фонарь сразу осветил всю комнату.

«Эй!.. Послушайте!.. Что здесь творится?!» – услышал я резкий оклик.

И в окно протиснулось множество голов любопытных, с удивлением и насмешками рассматривавших мою необычайную позу и военные доспехи на ночном костюме.

Я в эту минуту охотно согласился бы провалиться сквозь землю, чем сделаться таким глупым посмешищем толпы. И, окончательно растерявшийся, я положил колокол на пол и залепетал: «Ничего... ничего... Это из-за грозы... Я хотел отогнать молнию... и гром...»

– Молния?!.. Гром?!.. Гроза?!.. О чем это вы, мистер Вильямс, толкуете?!.. Взгляните: теперь дивная ночь и звезды так ярко теперь блещут, как...

Я взглянул на улицу. Прекрасная ночь и чистый прозрачный воздух меня так ошеломили, что я в течение нескольких минут не мог произнести ни слова.

– Ничего не понимаю!.. Я только что собственными глазами видел блеск молнии и ясно слышал громовые раскаты...

Мое заявление вызвало среди присутствующих такие взрывы смеха, что некоторые из них покатались на землю, а двоих охватили ужасные судороги.

«Странно, – произнес один из оставшихся у окна, что вы не догадались взглянуть на улицу, на верхушку вон того холма... Вы увидели бы там пушку, из которой стреляли в честь избрания нового президента республики... Граждане встретили эту радостную весть пушечными салютами...».

«Да, мистер Твэн, – произнес Мак Вильямс, – как я уже вам раньше говорил, мер предосторожности во время грозы такое изобилие, они так блестящи и совершенны, что я решительно не понимаю, почему и теперь еще бывают смертные случаи с людьми, которых поразила молния...».

Поезд в эту минуту остановился, и Мак Вильямс, захватив свой маленький чемоданчик, поспешил оставить вагон.

Пер. Е.Г.

Перевод опубликован в «Сибирской жизни», 1907, № 8 (9 января). С. 2–3.



Альфред Теннисон
(Alfred Tennyson, 1809–1892)

Альфред Теннисон (Alfred Tennyson, (1809–1892) – английский поэт, наиболее яркий выразитель сентиментально-консервативного мировоззрения викторианской эпохи, любимый поэт королевы Виктории, которая пожаловала ему почётное звание поэта-лауреата и титул барона, сделавший его в 1884 г. пэром Англии. Теннисон имел широкую популярность у себя на родине. В.В. Чуйко писал: «Во всяком английском коттедже вы почти неизбежно встретите полное собрание сочинений Теннисона, и почти никогда не увидите ни лорда Байрона, ни Шелли, ни Браунинга»¹. В России Теннисона начали переводить с 1860-х гг. При этом переводческая рецепция обнаруживала вкусовую и тематическую избирательность: особой популярностью пользовалась деревенская лирика и назидательные поэмы, в то время как романтические баллады английского поэта оказались чуждыми русским читателям второй половины XIX в., чьи вкусы во многом формировались под влиянием поэтов и писателей, показывающих несовершенство общественного устройства и выражающих социальный протест. Русская демократическая критика, горячо приветствовавшая Диккенса и Теккерея, воспринимала Теннисона, старавшегося избегать всякой связи с современной жизнью и охотно обращавшегося к Средневековью, как их антипода. Только в конце XIX в. русских переводчиков заинтересовал другой пласт лирики Теннисона: символические и пророческие стихи «Волшебница Шалот», «Годива», «Вкушающие лотос», «Королевские идиллии».

¹ Чуйко В.В. Альфред Теннисон: Литературно-биографический очерк // Наблюдатель. 1892. № 12. С. 230.

Переводы

Появление перевода поэмы А. Теннисона «Королева мая» («The May Queen», 1842) в «Сибирском вестнике» совпало с юбилейной для английского поэта датой – в 1899 г. исполнялось девяносто лет со дня его рождения. «Королева мая» имеет характер литературной стилизации, воссоздающей подчеркнуто идиллические деревенские картины, в действительности далекие от жизни народа. Языческая стихия праздника служит для выражения христианской идеи: если по традиции жизнь «майской королевы» ограничена одним годом, то христианское устройство мира делает ее существование вечным. Обращаясь к проблемам веры, бессмертия и земной утраты, Теннисон решает важный для себя вопрос: несмотря на конечность земного существования, вечная жизнь достижима через обретение высшей христианской мудрости. В оригинале поэма имеет выраженное фольклорное начало, о чем свидетельствует балладная восьмистроочная строфа с характерным чередованием длинных и коротких строк, а также постоянный рефрен, в котором варьируются лишь вводные слова.

Томский переводчик, подписавшийся псевдонимом «В. Я...в», намеренно усиливая религиозное звучание стихотворения, актуализирует произведение Теннисона в контексте духовных исканий русского народа. В томском переводе все три части стихотворения значительно сокращены, преимущественно за счет лирических пейзажных зарисовок, играющих в оригинале важную роль в раскрытии внутреннего мира героини. Близкое сходство с фольклорным произведением также утрачивается в силу использования переводчиком языка прозы. Вместе с тем томский переводчик отчасти компенсирует характерный для оригинала ритмический рисунок, изобилующий повторами, подхватами и параллельными конструкциями, что в результате дает своеобразное стихотворение в прозе. С этой точки зрения, выбранную переводчиком стратегию можно рассматривать как стремление соответствовать тенденциям современной русской литературы рубежа XIX–XX вв., когда этот жанр пользовался большой популярностью.

Публикации

Теннисон А. Царица мая. (пер. с англ.) // Сибирский вестник. – 1899. – № 93 (4 апреля). – С. 2.

The May Queen (1833)

You must wake and call me early, call me early, mother dear;
To-morrow'll be the happiest time of all the glad new-year,
Of all the glad new-year, mother, the maddest, merriest day;
For I 'm to be Queen o' the May, mother, I 'm to be Queen o' the May.

There's many a black, black eye, they say, but none so bright as mine;
There's Margaret and Mary, there's Kate and Caroline;
But none so fair as little Alice in all the land, they say:
So I 'm to be Queen o' the May, mother, I 'm to be Queen o' the May.

I sleep so sound all night, mother, that I shall never wake,
If you do not call me loud when the day begins to break;
But I must gather knots of flowers and buds, and garlands gay;
For I 'm to be Queen o' the May, mother, I 'm to be Queen o' the May.

As I came up the valley, whom think ye should I see
But Robin leaning on the bridge beneath the hazel-tree?
He thought of that sharp look, mother, I gave him yesterday,
But I 'm to be Queen o' the May, mother, I 'm to be Queen o' the May.

He thought I was a ghost, mother, for I was all in white;
And I ran by him without speaking, like a flash of light.
They call me cruel-hearted, but I care not what they say,
For I 'm to be Queen o' the May, mother, I 'm to be Queen o' the May.

They say he's dying all for love, but that can never be;
They say his heart is breaking, mother, – what is that to me?
There's many a bolder lad'll woo me any summer day;
And I 'm to be Queen o' the May, mother, I 'm to be Queen o' the May.

Little Effie shall go with me to-morrow to the green,
And you'll be there, too, mother, to see me made the Queen;
For the shepherd lads on every side'll come from far away;
And I 'm to be Queen o' the May, mother, I 'm to be Queen o' the May.

The honeysuckle round the porch has woven its wavy bowers,
And by the meadow-trenches blow the faint sweet cuckoo-flowers;

Царица мая

I – Накануне 1-го мая

Матушка, разбуди меня завтра до восхода солнца: на заре я буду рвать цветы и заплетать в венки: меня избрали царицей мая, и это будет лучший день в году! Много черных глаз, но нет таких жгучих, как мои; много красивых девушек, да нет краше твоей маленькой Алисы, завтра ее будут убирать цветами! Не забудь же разбудить меня на рассвете.

В долине я встретила вчера Робена. Он стоял задумчиво в тени орешника. Говорят, что я жестока, что я играю его сердцем, что он умирает от любви. Что за беда! Пусть говорят... Завтра я царица мая!

Молодые пастухи придут с гор и будут участвовать в майском хороводе. Кругом свежая зелень; гиацинты и анемоны покрыли холмы; гибкая жимолость вьется у плетня; там золотистые лютики блестят, как звезды, и глазки незабудок смотрят из травы; и ручей радостно журчит среди цветущей нивы.

Какой тихий вечер! Легкий ветерок ласкает травку. Звезды ярко горят... Завтра будет чудесная погода, и меня будут венчать царицей мая.

Покойной ночи, моя дорогая! Не забудь же меня разбудить; это будет самый веселый день, самый прекрасный день в году.

II – Накануне Нового года

Разбуди меня, мама, завтра пораньше, в последний раз я увижу восход солнца на новый год; скоро вы опустите меня в глубокую могилу и забудете меня.

Сегодня я любовалась закатом; солнце исчезло и унесло с собой мои былые радости, мои воспоминания.

Как чудно провела я 1-е мая! Меня украсили цветами под кустом диких роз; мы водили хоровод вокруг майского деревца...

На холмах теперь иней... Мне не дожидаться, когда солнце высоко встанет в небе, когда снег растает, когда на лугах запестреют подснежники.

Поля окутаются мягким покровом ночи, кругом будет темно, ветер закачает большой вяз, соловьи запоют в его ветвях, а я буду в холодном, тесном гробу.

Но когда петух пропоет на ферме, лучи солнца согреют и землю, которая будет лежать надо мной.

And the wild marsh-marigold shines like fire in swamps and hollows gray;
And I 'm to be Queen o' the May, mother, I 'm to be Queen o' the May.

The night-winds come and go, mother, upon the meadow-grass,
And the happy stars above them seem to brighten as they pass;
There will not be a drop of rain the whole of the livelong day;
And I 'm to be Queen o' the May, mother, I 'm to be Queen o' the May.

All the valley, mother, 'll be fresh and green and still,
And the cowslip and the crowfoot are over all the hill,
And the rivulet in the flowery dale 'll merrily glance and play,
For I 'm to be Queen o' the May, mother, I 'm to be Queen o' the May.

So you must wake and call me early, call me early, mother dear;
To-morrow 'll be the happiest time of all the glad new-year;
To-morrow 'll be of all the year the maddest, merriest day,
For I 'm to be Queen o' the May, mother, I 'm to be Queen o' the May.

NEW YEAR'S EVE

If you're waking, call me early, call me early, mother dear,
For I would see the sun rise upon the glad new-year.
It is the last new-year that I shall ever see,
Then you may lay me low i' the mold, and think no more of me.

To-night I saw the sun set, he set and left behind
The good old year, the dear old time, and all my peace of mind;
And the new-year's coming up, mother; but I shall never see
The blossom on the blackthorn, the leaf upon the tree.

Last May we made a crown of flowers; we had a merry day,
Beneath the hawthorn on the green they made me Queen of May;
And we danced about the May-pole and in the hazel copse,
Till Charles's Wain came out above the tall white chimney-tops.

There's not a flower on all the hills, the frost is on the pane;
I only wish to live till the snowdrops come again.
I wish the snow would melt and the sun come out on high,—
I long to see a flower so before the day I die.

The building-rook 'll caw from the windy tall elm-tree,
And the tufted plover pipe along the fallow lea,

Вот летний ветерок подует над лесом, камыш заколышется под его дыханием, и ты придешь ко мне, мама, отдохнуть в тени шиповника.

Я буду вспоминать тебя; я буду слышать, как в высокой траве ты пройдешь надо мной. Не плачь же так, не убивайся, не делай мне так больно! Я буду прилетать сюда, я буду видеть, слышать все, я буду около тебя.

III

Я все еще жива... На лугах цветут фиалки... Как хороши цветы! Как чудно голубое небо! А я не в силах встать... но смерть не страшит меня; мне не нужно уже блеска солнца, и я не хочу оставаться здесь.

Сейчас духовник говорил мне слова утешения, говорил о милосердии Божию. Благослови, Господь, его седины! Пусть небесная радость волеется в его сердце! Благослови его, научившего меня молиться! Теперь я знаю, что не буду отвергнута, что мой светильник будет зажжен в последнюю минуту. И если бы исцеление было возможно, я не желала бы жить. Я хочу идти к Христу, который умер за меня. Он скоро призовет меня, он мне сказал об этом.

Садись сюда, дай руки мне, родная, я расскажу тебе, как это было.

Луна скрылась, было совсем темно. Деревья тихо шептались между собой. Я лежала с открытыми глазами и думала о вас; я стала молиться за тебя и за сестру, и мир сошел в мою измученную душу... С долины неслись дивные звуки, и неведомый голос что-то говорил мне; что говорил, не знаю, но он радостью наполнил мое сердце. А чудная мелодия все приближалась и последний раз прозвучала у окна. Потом звуки поднялись кверху и исчезли в звездном небе.

Небесная музыка была оттуда, куда идет моя душа. Это конец моим страданиям... Но ты... ты утетишься потом.

Передай мой поцелуй Робену, пусть не грустит; он найдет жену и лучше, и достойнее меня...

Смотрите! Небо пылает, сейчас взойдет солнце и разбудит холмы, долину, рощи и поля, которые я так любила, и где другие будут рвать цветы вместо меня. А мой голос замолкнет до заката солнца. О, сладостная, чудная мечта! Что жизнь?.. Затем грустить о мерт-

And the swallow'll come back again with summer o'er the wave,
But I shall lie alone, mother, within the moldering grave.

Upon the chancel casement, and upon that grave of mine,
In the early, early morning the summer sun'll shine,
Before the red cock crows from the farm upon the hill, –
When you are warm-asleep, mother, and all the world is still.

When the flowers come again, mother, beneath the waning light
You'll never see me more in the long gray fields at night;
When from the dry dark wold the summer airs blow cool
On the oat-grass and the sword-grass, and the bulrush in the pool.

You'll bury me, my mother, just beneath the hawthorn shade,
And you'll come sometimes and see me where I am lowly laid.
I shall not forget you, mother; I shall hear you when you pass,
With your feet above my head in the long and pleasant grass.

I have been wild and wayward, but you'll forgive me now;
You'll kiss me, my own mother, upon my cheek and brow;
Nay, nay, you must not weep, nor let your grief be wild;
You should not fret for me, mother, you have another child.

If I can, I'll come again, mother, from out my resting-place;
Though you'll not see me, mother, I shall look upon your face;
Though I cannot speak a word, I shall harken what you say,
And be often, often with you when you think I 'm far away.

Good night! good night! when I have said good night forevermore,
And you see me carried out from the threshold of the door,
Don't let Effie come to see me till my grave be growing green,
She'll be a better child to you than ever I have been.

She'll find my garden tools upon the granary floor.
Let her take 'em—they are hers; I shall never garden more;
But tell her, when I 'm gone, to train the rosebush that I set
About the parlor window and the box of mignonette.

Good night, sweet-mother! Call me before the day is born.
All night I lie awake, but I fall asleep at morn;
But I would see the sun rise upon the glad new-year,
So, if you're waking, call me, call me early, mother dear.

вых?.. Зачем жалеть?.. Я уйду в обитель Бога. Меня будет ласкать Божественный свет; там не будет страданий, там вечный покой! Я буду ждать вас, вы скоро придете туда, дорогие.

Пер. В. Я...ва.

Перевод опубликован в «Сибирском вестнике», 1899, № 93 (4 апреля). С. 2.

Литература

Горенинцева В.Н. Рецепция английской и американской литературы в томской периодике конца XIX – начала XX вв.: дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 2009. – 218 с.

Горенинцева В.Н. «Королева мая» А. Теннисона в «Сибирском вестнике» / В.Н. Горенинцева // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения : материалы XIX Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 25–26 апреля 2008 г. : в 2 ч. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2008. – Ч. 1 : Литературоведение. – С. 59–64.

CONCLUSION

I thought to pass away before, and yet alive I am;
And in the fields all around I hear the bleating of the lamb.
How sadly, I remember, rose the morning of the year!
To die before the snowdrop came, and now the violet's here.

O, sweet is the new violet, that comes beneath the skies;
And sweeter is the young lamb's voice to me that cannot rise;
And sweet is all the land about, and all the flowers that blow;
And sweeter far is death than life, to me that long to go.

It seemed so hard at first, mother, to leave the blessed sun,
And now it seems as hard to stay; and yet, His will be done!
But still I think it can't be long before I find release;
And that good man, the clergyman, has told me words of peace.

O, blessings on his kindly voice, and on his silver hair,
And blessings on his whole life long, until he meet me there!
O, blessings on his kindly heart and on his silver head!
A thousand times I blest him, as he knelt beside my bed.

He taught me all the mercy, for he showed me all the sin;
Now, though my lamp was lighted late, there's One will let me in.
Nor would I now be well, mother, again, if that could be;
For my desire is but to pass to Him that died for me.

I did not hear the dog howl, mother, or the death-watch beat,
There came a sweeter token when the night and morning meet;
But sit beside my bed, mother, and put your hand in mine,
And Effie on the other side, and I will tell the sign.

All in the wild March-morning I heard the angels call,
It was when the moon was setting, and the dark was over all;
The trees began to whisper, and the wind began to roll,
And in the wild March-morning I heard them call my soul.

For, lying broad awake, I thought of you and Effie dear;
I saw you sitting in the house, and I no longer here;

With all my strength I prayed for both, – "and so I felt resigned,
And up the valley came a swell of music on the wind.

I thought that it was fancy, and I listened in my bed;
And then did something speak to me, I know not what was said;
For great delight and shuddering took hold of all my mind,
And up the valley came again the music on the wind.

But you were sleeping; and I said, "It's not for them, – it 's mine;"
And if it comes three times, I thought, I take it for a sign.
And once again it came, and close beside the window-bars;
Then seemed to go right up to heaven and die among the stars.

So now I think my time is near; I trust it is. I know
The blessèd music went that way my soul will have to go.
And for myself, indeed, I care not if I go to-day;
But Effie, you must comfort *her* when I am past away.

And say to Robin a kind word, and tell him not to fret;
There's many a worthier than I, would make him happy yet.
If I had lived, I cannot tell, I might have been his wife;
But all these things have ceased to be, with my desire of life.

O, look! the sun begins to rise! the heavens are in a glow;
He shines upon a hundred fields, and all of them I know.
And there I move no longer now, and there his light may shine,
Wild flowers in the valley for other hands than mine.

O, sweet and strange it seems to me, that ere this day is done
The voice that now is speaking may be beyond the sun,
Forever and forever with those just souls and true,
And what is life, that we should moan? why make we such ado?

Forever and forever, all in a blessèd home,
And there to wait a little while till you and Effie come,
To lie within the light of God, as I lie upon your breast,
And the wicked cease from troubling, and the weary are at rest.

*Tennyson, A. The May Queen. [Электронный ресурс] // URL:
<http://www.bartleby.com/360/3/181.html> (access date: 21.02.2016).*



Оскар Уайлд
(Oscar Wilde, 1854–1900)

Оскар Уайлд (Oscar Wilde, 1854–1900) – ирландский философ, эстет, писатель, поэт, один из самых известных драматургов позднего викторианского периода, оказавший заметное влияние на русский литературный процесс рубежа XIX–XX вв. Первое упоминание о нем в русской периодике относится к 1892 г.; в это время в Англии на смену скандальной славе Уайлда – эстета и декадента – пришла широкая популярность Уайлда-драматурга. Распространение славы Уайлда в России является во многом заслугой русских символистов, творческим и философским исканиям которых оказались близки эстетические постулаты английского писателя. Последовавшие судебные процессы на Уайльдом в Англии послужили своеобразным катализатором интереса к писателю: в России появился целый поток публикаций, содержащих попытки осмысления его личности и судьбы. Таким образом, в середине 1900-х гг. общероссийский дискурс об О. Уайлде выходит за орбиту символистских изданий, при этом в центре внимания критики эволюция писателя, сложное взаимопроникновение эстетического и этического в его сочинениях и природа его раскаяния и духовного перерождения.

Критика

Несколько запоздалое знакомство томского читателя с О. Уайлдом пришлось, главным образом, на первое десятилетие XX в. В «Сибирской жизни», обычно внимательно следившей за происходящим в литературном и окололитературном мире, ни суды над Уайлдом, ни его кончина в 1900 г. не вызвали никакого резонанса. Первые переводы из Уайлда появляются в томской газете в 1906 и 1907 гг., а критики обращаются к английскому писателю лишь в 1910 г. В «Заметках о модернизме», опубликованных в «Сибирской жизни» в августе 1910 г., А. Качоровская лишь упоминает Уайльда, обозначая принадлежность английского писателя к определенному направлению модернизма. В ноябре этого же года в газете выходит большая статья Г.А. Вяткина с поэтичным названием «Рыцарь Красоты». Вяткин, критик-реалист постнароднического направления, признает за Уайлдом особенную роль в мировой лите-

ратуре, относя его к тем писателям, чьи творения существуют вне времени и пространства. Вслед за рядом столичных критиков (Н.Я. Абрамовичем, Г.С. Петровым) центральной для понимания Уайльда Вяткин считает его духовную эволюцию, интерпретируя личность и творчество английского писателя через призму христианства и идейно-философских исканий Достоевского. Томский критик разделяет сформировавшийся в России миф об Уайлде – мученике, через испытания пришедшем к «религии страдания», которая, в свою очередь, ведет человечество к пониманию истинной красоты и духовному совершенствованию. Очевидно, в связи с этим Вяткин называет самым значительным и трагичным произведением английского писателя «Балладу Рэдингской тюрьмы» (*The Ballad of Reading Gaol*, 1897).

Впоследствии Вяткин неоднократно обращается к фигуре О. Уайльда, переосмысливая и применяя его этические и эстетические принципы в оригинальной публицистике и лирике. К примеру, в публикации о праздновании в Томске «Дня белого цветка» (акции в поддержку борьбы против туберкулеза) Вяткин как отправную точку использует размышления О. Уайльда о роли искусства в жизни. Свое стихотворение «Любовь» (1913) Вяткин предваряет эпиграфами из тюремной исповеди О. Уайльда «*De Profundis*».

В 1912 г. к творчеству Уайльда обращается другой томский критик, И. Иванов, используя сюжет из романа «Портрет Дориана Грея» (*The Picture of Dorian Gray*, 1890) в своей рецензии на повесть А.М. Ремизова «Пятая язва».

Театр

Единственная постановка произведения английского драматурга в Томске состоялась в 1912 г.: томская труппа обратилась к комедии «Как важно быть серьезным» («*The Importance of being Ernest*», 1899), одной из самых репертуарных пьес Уайльда в дореволюционной России. Судя по материалам театральных рецензий «Сибирской жизни», в Томске планировалось поставить в целом три спектакля по Уайлду: помимо комедии «Как важно быть серьезным», в репертуар были включены драма «Герцогиня Падуанская» и комедия «Женщина, не стоящая внимания». Однако периодика не сохранила сведений о том, состоялись ли эти постановки.

Комедию «Как важно быть серьезным» в Томске ставили по переводу В.П. Лачинова, значительно адаптированному для сцены. Существенные сокращения привели к тому, что текст утратил значительную часть блестящих, остроумных диалогов, основанных на парадоксах, которые служили для английского драматурга средством установления контакта с аудиторией и способом решения тех же проблем, которые волновали мастеров реалистической драмы. Опасаясь, что английский юмор не будет воспринят русским зрителем, переводчик значительно перекроил оригинальный текст, максимально приближая героев пьесы к шаблонным водевильным характеристикам, хорошо знакомым российскому обывателю. Выбранный Лачиновым вариант перевода названия пьесы – «Что иногда хочет женщина» – задает иной вектор восприятия комедии Уайльда, помещая ее в ряд популярных пьес с женской тематикой.

«Сибирская жизнь» откликается на постановку спектакля заметкой томского рецензента и литературного критика И. Иванова. Выполняя просветительские функции, Иванов разъясняет непереводимую игру слов, заключающуюся в оригинальном названии пьесы, включает комментарий о сценической истории комедии, а также дает собственную оценку пьесы, призывая зрителей обратить особое внимание на блестящую импровизацию и остроумный диалог. В большей степени критику, считавшемуся одним из немногочисленных апологетов нового искусства в Сибири, импонирует отсутствие в пьесе дидактизма. Оценивая успех постановки пьесы в Томске, Иванов настроен благожелательно: по мнению критика, исполнителям главных ролей удалось, благодаря природному такту и сдержанности, верно уловить и передать зрителю отношение Уайльда к подлинному искусству, которое должно быть свободно от морализаторства, пропаганды и навязывания собственных принципов.

Переводы

В томской периодике первые переводы из Уайльда появляются лишь к концу 1900 гг. В 1906–1907 гг. Е. Григорьев переводит новеллы «Натурщик-миллионер» (*The Model Millionaire*, 1891) и «Сфинкс без тайн и загадок» (*The Sphinx without a Secret*, 1891), а также три стихотворения в прозе «Артист» (*The Artist*, 1894), «Ученик» (*The Disciple*, 1894) и «Творец добра» (*The Doer of Good*, 1894).

Кроме того, в 1907 г. в «Сибирской жизни» опубликован перевод сказки «Соловей и роза» (*The Nightingale and the Rose*, 1888), подписанный криптонимом «П.А.».

В целом можно сказать, что «томские» переводы из О. Уайлда обнаруживают актуализацию разных переводческих стратегий. Переводы стихотворений в прозе и сказки выявляют установку переводчиков на максимальное сохранение всех особенностей оригинала. В свою очередь, перевод новелл демонстрирует тенденцию к приспособливанию текста к принимающей культуре. Трансформации, заключающиеся в ослаблении эстетического дискурса, исключении «игры» с читателем, приводят к усилению притчевости новелл. И хотя переводчик воспроизводит декоративность эстетики Уайлда, связанную с описаниями тканей, интерьера, нарядов, многочисленные трансформации приводят к изменениям в общей тональности текстов и усилению их дидактизма: Уайлд-эстет уступает Уайльд-моралисту.

Публикации

1. Вяткин Г.А. Рыцарь красоты (О. Уайлд) / Г.А. Вяткин // Сибирская жизнь. – 1910. – № 261 (23 ноября). – С. 4–5.

2. Вяткин Г.А. Праздник белого цветка / Г.А. Вяткин // Сибирская жизнь. – 1911. – № 94 (29 апреля). – С. 3.

3. Иванов И. Плач над разоренностью России (о повести Ремизова «Пятая язва») / И. Иванов // Сибирская жизнь. – 1912. – № 249 (9 ноября). – С. 2.

4. Вяткин Г.А. Любовь / Г.А. Вяткин / Сибирская жизнь. – 1913. – № 70 (28 марта). – С. 3.

5. Иванов И. А. Театр // Сибирская жизнь. – 1912. – № 123 (3 июня). – С. 3.

6. Уайлд О. Натурщик-миллионер (пер. с англ.) / О. Уайлд // Сибирская жизнь. – 1906. – № 145 (9 июля). – С. 2. Пер. «Е.Г.» [Е. Григорьев].

7. Уайлд О. Артист (пер. с англ.) / О. Уайлд // Сибирская жизнь. – 1906. – № 182 (24 августа). – С. 2. Пер. «Е.Г.».

8. Уайлд О. Ученик (пер. с англ.). / О. Уайлд // Сибирская жизнь. – 1906. – № 182 (24 августа). – С. 2. Пер. «Е.Г.» [Е. Григорьев].

9. Уайлд О. Сфинкс без тайн и загадок (пер. с англ.) / О. Уайлд // Сибирская мысль. – 1907. – № 65 (14 января). С. 2. Пер. «Е.Г.» [Е. Григорьев].

10. Уайлд О. Соловей и роза (пер. с англ.) / О. Уайлд // Сибирская жизнь. – 1907. – № 80 (29 июля). – С. 3–4. Пер. «П.А.».

11. Уайлд О. Творец добра (пер. с англ.) / О. Уайлд // Сибирская мысль. – 1907. – № 85 (2 февраля). – С. 3. Пер. «Е.Г.» [Е. Григорьев].

The Model Millionaire (1891)

Unless one is wealthy there is no use in being a charming fellow. Romance is the privilege of the rich, not the profession of the unemployed. The poor should be practical and prosaic. It is better to have a permanent income than to be fascinating. These are the great truths of modern life which Hughie Erskine never realised. Poor Hughie! Intellectually, we must admit, he was not of much importance. He never said a brilliant or even an ill-natured thing in his life. But then he was wonderfully good-looking, with his crisp brown hair, his clear-cut profile, and his grey eyes. He was as popular with men as he was with women and he had every accomplishment except that of making money. His father had bequeathed him his cavalry sword and a History of the Peninsular War in fifteen volumes. Hughie hung the first over his looking-glass, put the second on a shelf between Ruff's Guide and Bailey's Magazine, and lived on two hundred a year that an old aunt allowed him. He had tried everything. He had gone on the Stock Exchange for six months; but what was a butterfly to do among bulls and bears? He had been a tea-merchant for a little longer, but had soon tired of pekoe and souchong. Then he had tried selling dry sherry. That did not answer; the sherry was a little too dry. Ultimately he became nothing, a delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no profession.

To make matters worse, he was in love. The girl he loved was Laura Merton, the daughter of a retired Colonel who had lost his temper and his digestion in India, and had never found either of them again. Laura adored him, and he was ready to kiss her shoe-strings. They were the handsomest couple in London, and had not a penny-piece between them. The Colonel was very fond of Hughie, but would not hear of any engagement.

"Come to me, my boy, when you have got ten thousand pounds of your own, and we will see about it," he used to say; and Hughie looked very glum in those days, and had to go to Laura for consolation.

One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mertons lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. Trevor was a painter. Indeed, few people escape that nowadays. But he was also an artist, and artists are rather rare. Personally he was a strange rough fellow, with a freckled face and a red ragged beard. However, when he took up the brush he was a real master, and his pictures were eagerly

Натурщик-миллионер

Удивительная история

Очаровательность без богатства – ничто.

Роман – привилегия богатых, и люди без занятий никогда не бывают его героями.

Лучше иметь определенный ежегодный доход, нежели быть чародеем.

Таковы великие аксиомы новейшей жизни, которых Гугэ Эрскин никогда не хотел признавать.

Бедный Гугэ!

С точки зрения интеллектуальной силы – мы должны это признать – [он] никогда не был феноменом. Ему никогда не случилось прославиться какой-нибудь блестящей статьей или же хотя бы интересным наброском. Но это, однако, не мешало ему оставаться прекрасным человеком с красивым и правильным профилем, выходящейся шевелюрой и серыми глазами.

Его одинаково любили как женщины, так и мужчины. Он обладал всякого рода талантами и дарованиями, кроме того, которым наживают деньги.

Отец завещал ему свои рыцарские латы и «Историю балканской войны» в пятнадцати томах.

Первую часть своего наследства он повесил перед зеркалом, а вторую – бережно уложил на этажерке между «Путеводителем» Руфа и «Магазином» Болея. Жил он ежегодным доходом в двести фунтов, которые ему достались от старой тетки после её смерти.

Гугэ принимался за различные занятия.

В течение шести месяцев он посещал биржу, но что способен сделать мотылек среди быков и медведей?

После этого он сделался торговцем чая. На этом поприще он оставался довольно продолжительное время, но кончил его чуть ли не банкротством.

Затем он продавал сухой перец. Но успеха и здесь не было. Перец оказался слишком сухим.

В конце концов, он сделался... ничем. Он остался просто прекрасным человеком, ни на что не годным, с совершенным профилем лица и без всяких занятий.

И в довершение своего несчастья он влюбился.

sought after. He had been very much attracted by Hughie at first, it must be acknowledged, entirely on account of his personal charm. "The only people a painter should know," he used to say, "are people who are bete and beautiful, people who are an artistic pleasure to look at and an intellectual repose to talk to. Men who are dandies and women who are darlings rule the world, at least they should do so." However, after he got to know Hughie better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirits and his generous, reckless nature, and had given him the permanent entree to his studio.

When Hughie came in he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar-man. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. He was a wizened old man, with a face like wrinkled parchment, and a most piteous expression. Over his shoulders was flung a coarse brown cloak, all tears and tatters; his thick boots were patched and cobbled, and with one hand he leant on a rough stick, while with the other he held out his battered hat for alms.

"What an amazing model!" whispered Hughie, as he shook hands with his friend.

"An amazing model?" shouted Trevor at the top of his voice; "I should think so! Such beggars as he are not to be met with every day. A trouvaille, mon cher; a living Velasquez! My stars! what an etching Rembrandt would have made of him!"

"Poor old chap!" said Hughie, "how miserable he looks! But I suppose, to you painters, his face is his fortune?"

"Certainly," replied Trevor, "you don't want a beggar to look happy, do you?"

"How much does a model get for sitting?" asked Hughie, as he found himself a comfortable seat on a divan.

"A shilling an hour."

"And how much do you get for your picture, Alan?"

"Oh, for this I get two thousand!"

"Pounds?"

"Guineas. Painters, poets, and physicians always get guineas."

"Well, I think the model should have a percentage," cried Hughie, laughing; "they work quite as hard as you do."

"Nonsense, nonsense! Why, look at the trouble of laying on the paint alone, and standing all day long at one's easel! It's all very well, Hughie, for you to talk, but I assure you that there are moments when Art almost

Молодую девушку, которую он полюбил, звали Лаурой Мертон. Её отец был отставной полковник, потерявший в Индии все свое состояние.

Лаура обожала Гугэ, а этот последний целовал ремешки её ботинок. Это была самая милая парочка, какую только можно было встретить в Лондоне. Но никто из них не обладал ни одним пени.

Полковник относился с Гугэ с большой благосклонностью, но о браке с дочерью и слушать не хотел.

«Приходите ко мне, милый мой, – говорил он ему часто, – когда у вас будет десять тысяч фунтов. Мы тогда с вами потолкуем».

В такие дни Гугэ отчаянно хандрил, и только общество Лауры утешало и успокаивало его.

Однажды утром Гугэ, отправляясь в Холланд-Парк, где проживали Мертоны, задумал навестить своего старого закадычного приятеля Алана Тревора, жившего здесь же неподалеку.

Тревора был художник. В настоящее время огромная часть человечества заражена этой страстью, но Алан, помимо того, был артистом. А артисты – редкость.

С внешней стороны Алан Тревор был самой обыкновенной личностью: некрасивый, с лицом, покрытым рыжими веснушками, и с рыжей же всклокоченной бородой. Но стоило ему взять в руки кисть, как он превращался во вдохновенного маэстро, картины которого высоко ценились и усердно разыскивались.

При виде Гугэ он значительно оживился, и следует признать, что причиною этого оживления послужило исключительно его прелестное лицо.

«Люди, с которыми художник должен вести знакомство, – про-изнес он – должны быть особенно красивы; они должны быть способны вызывать у него эстетическое наслаждение или же доставлять ему во время беседы с ними умственный отдых. Миром управляют мужчины-денди и женщины-кокетки; они, во всяком случае, должны были бы управлять им».

Он особенно полюбил Гугэ, когда узнал его поближе. Ему нравились его увлекательность¹, его постоянная веселость и природное великодушие. И он разрешил ему приходить в свое ателье во всякое время дня.

Когда Гугэ вошел, Тревор был занят окончанием огромной картины, изображавшей нищего в естественную величину.

В углу ателье на платформе стоял позировавший ему нищий.

¹ Так в тексте.

attains to the dignity of manual labour. But you mustn't chatter; I'm very busy. Smoke a cigarette, and keep quiet."

After some time the servant came in, and told Trevor that the frame-maker wanted to speak to him.

"Don't run away, Hughie," he said, as he went out, "I will be back in a moment."

The old beggar-man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. He looked so forlorn and wretched that Hughie could not help pitying him, and felt in his pockets to see what money he had. All he could find was a sovereign and some coppers. 'Poor old fellow,' he thought to himself, 'he wants it more than I do, but it means no hansoms for a fortnight'; and he walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand.

The old man started, and a faint smile flitted across his withered lips. "Thank you, sir," he said, "thank you."

Then Trevor arrived, and Hughie took his leave, blushing a little at what he had done. He spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance, and had to walk home.

That night he strolled into the Palette Club about eleven o'clock, and found Trevor sitting by himself in the smoking-room drinking hock and seltzer.

"Well, Alan, did you get the picture finished all right?" he said, as he lit his cigarette.

"Finished and framed, my boy!" answered Trevor; "and, by the bye, you have made a conquest. That old model you saw is quite devoted to you. I had to tell him all about you – who you are, where you live, what your income is, what prospects you have".

"My dear Alan," cried Hughie, "I shall probably find him waiting for me when I go home. But of course you are only joking. Poor old wretch! I wish I could do something for him. I think it is dreadful that any one should be so miserable. I have got heaps of old clothes at home – do you think he would care for any of them? Why, his rags were falling to bits."

"But he looks splendid in them," said Trevor. "I wouldn't paint him in a frock coat for anything. What you call rags I call romance. What seems poverty to you is picturesqueness to me. However, I'll tell him of your offer."

"Alan," said Hughie seriously, "you painters are a heartless lot."

"An artist's heart is his head," replied Trevor; "and besides, our business is to realise the world as we see it, not to reform it as we know it.

Это был дряхлый, сгорбленный старец, жалкое лицо которого казалось покрытым сморщенным и засохшим пергаментом.

На плечах у него висел коричневый из грубой материи плащ, имевший вид старых, дырявых и заплатаанных лохмотьев. Он носил такие же дырявые и починенные сапоги. В одной руке он держал огромную суковатую палку, а в другой – жалкие остатки какой-то шляпы, в которой он собирал милостыню.

«Какой роскошный у тебя натурщик!» – чуть слышно произнес Гугэ, крепко пожимая руку своего друга.

«Роскошный натурщик!.. – громко вскрикнул Тревор. – Конечно роскошный!.. Такие нищие не попадаются часто!.. Редкая находка, друг мой, это – истинный Веласкес во плоти и крови!.. Какую великую картину создал бы с такою натурою Рембрандт!»

«Несчастный старик!.. – произнес Гугэ. – Какой у него жалкий, изможденный вид!.. Но для вас, художников, его лицо должно соответствовать его состоянию!..»

«Безусловно, должно!.. – возразил Тревор. – Ведь вы не захотели бы видеть несчастного нищего с веселою и радостною физиономиею!..»

«А сколько получает натурщик за сеанс?» – спросил Гугэ, усевшись комфортабельно на диван.

– Шиллинг за час.

– А вы, Алан, сколько получаете за картину?

– За эту?.. О, за эту мне дадут две тысячи.

– Фунтов?..

– Гиней. Художники, поэты и врачи считают только гинеями.

– О, о!.. А мне кажется, что натурщик должен был бы получать столько же, сколько и вы, – весело вскричал Гугэ. – Ведь он работает не меньше вашего!..

– Ну, глупости!.. Ничего не может быть легче, чем держать в руках кисть и мазать красками!.. Но вы, Гугэ, я уверен, говорите это только ради шуток. Впрочем, вы должны знать, что искусство поднимается иногда до уровня умственного труда. Но – довольно болтать попусту! Я теперь очень занят. Берите, Гугэ, папиросу и сидите спокойно.

Через несколько минут в ателье вошла прислуга и доложила Тревору, что его ждет для переговоров золотильщик рам.

«Не уходите, Гугэ, я сейчас вернусь!» – произнес он, уходя.

Старый нищий воспользовался отсутствием художника и присел отдохнуть на скамью, находившуюся сзади него.

A chacun son metier. And now tell me how Laura is. The old model was quite interested in her."

"You don't mean to say you talked to him about her?" said Hughie.

"Certainly I did. He knows all about the relentless colonel, the lovely Laura, and the 10,000 pounds."

"You told that old beggar all my private affairs?" cried Hughie, looking very red and angry.

"My dear boy," said Trevor, smiling, "that old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. He could buy all London tomorrow without overdrawing his account. He has a house in every capital, dines off gold plate, and can prevent Russia going to war when he chooses."

"What on earth do you mean?" exclaimed Hughie.

"What I say," said Trevor. "The old man you saw to-day in the studio was Baron Hausberg. He is a great friend of mine, buys all my pictures and that sort of thing, and gave me a commission a month ago to paint him as a beggar. *Que voulez-vous? La fantaisie d'un millionnaire!* And I must say he made a magnificent figure in his rags, or perhaps I should say in my rags; they are an old suit I got in Spain."

"Baron Hausberg!" cried Hughie. "Good heavens! I gave him a sovereign!" and he sank into an armchair the picture of dismay.

"Gave him a sovereign!" shouted Trevor, and he burst into a roar of laughter. "My dear boy, you'll never see it again. *Son affaire c'est l'argent des autres.*"

"I think you might have told me, Alan," said Hughie sulkily, "and not have let me make such a fool of myself."

"Well, to begin with, Hughie," said Trevor, "it never entered my mind that you went about distributing alms in that reckless way. I can understand your kissing a pretty model, but your giving a sovereign to an ugly one – by Jove, no! Besides, the fact is that I really was not at home today to any one; and when you came in I didn't know whether Hausberg would like his name mentioned. You know he wasn't in full dress."

"What a duffer he must think me!" said Hughie.

"Not at all. He was in the highest spirits after you left; kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hands together. I couldn't make out why he was so interested to know all about you; but I see it all now. He'll invest your sovereign for you, Hughie, pay you the interest every six months, and have a capital story to tell after dinner."

«Боже! Какой он несчастный, этот старик!..» – произнес мысленно Гугэ.

Истощенное лицо старика и его жалкая нищенская наружность вызывали в доброй душе Гугэ чувство глубокого сострадания. Он пощупал свои карманы, чтобы определить, сколько у него денег.

Оказался один фунт и несколько медных монет.

«Бедный старик! – продолжал Гугэ свои мысли. – Он нуждается гораздо больше моего. Что же делать!.. Мне придется в течение пятнадцати дней отказываться от фиакра и гулять пешком!..».

И, пройдя в угол ателье, он сунул этот фунт в руку нищего.

Старик привскочил. Затем его лицо озарилось странной улыбкой.

«Благодарю вас, господин!.. – произнес он. – Благодарю вас!..».

Когда Тревор вошел, Гугэ поспешил с ним распрощаться, краснея при воспоминании о своем поступке.

Остаток этого дня он провел у Лауры, которая порядком побранила его за подобную расточительность. Вечером он был принужден пешком отправиться домой.

Около одиннадцати часов он вошел в клуб, где застал Тревора, который уединенно сидел в курильном зале за стаканом белого вина и сифоном сельтерской воды.

«Ну что, Алан, – вскрикнул он, закуривая папироску. – Окончили вы сегодня вашу картину? Как она вышла?..».

«Не только окончил, но даже вставил уже ее в раму, – произнес Тревор. – Да, кстати. Вы одержали сегодня блестящую победу: мой старый позировщик прямо восхищен вами! Я принужден был ему рассказать все, что знаю о вас... кто вы, где вы живете, чем занимаетесь, какие у вас доходы, какие у вас планы относительно будущего и т.д.».

«Дорогой Алан, – вскричал Гугэ, – клянусь, что я найду сегодня этого нищего у порога своих дверей, когда возвращусь домой! Но нет, это, впрочем, шутка... не в том дело... Бедный старикашка!.. Я бы с радостью хотел устроить его как-нибудь иначе. На меня ужасно повлиял его нищенский вид. Слушайте, Алан, у меня даже имеются кое-какие старые вещи... Думаете ли вы, что это подойдет к нему?.. Я думаю, что – да!.. Следовало бы, мне кажется, предложить их ему, а то его рубища положительно распадаются на отдельные тряпки...».

«Но они зато великолепно подходят к его лицу и фигуре, – возразил Тревор. – Ни за какие блага в мире я не согласился бы писать его портрет в черном нарядном сюртуке! То, что для вас жалко и без-

"I am an unlucky devil," growled Hughie. "The best thing I can do is to go to bed; and, my dear Alan, you mustn't tell any one. I shouldn't dare show my face in the Row."

"Nonsense! It reflects the highest credit on your philanthropic spirit, Hughie. And don't run away. Have another cigarette, and you can talk about Laura as much as you like."

However, Hughie wouldn't stop, but walked home, feeling very unhappy, and leaving Alan Trevor in fits of laughter.

The next morning, as he was at breakfast, the servant brought him up a card on which was written, 'Monsieur Gustave Naudin, de la part de M. le Baron Hausberg.' "I suppose he has come for an apology," said Hughie to himself; and he told the servant to show the visitor up.

An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room, and said, in a slight French accent, "Have I the honour of addressing Monsieur Erskine?"

Hughie bowed.

"I have come from Baron Hausberg," he continued. "The Baron –"

"I beg, sir, that you will offer him my sincerest apologies," stammered Hughie.

"The Baron," said the old gentleman with a smile, "has commissioned me to bring you this letter"; and he extended a sealed envelope.

On the outside was written, 'A wedding present to Hugh Erskine and Laura Merton, from an old beggar,' and inside was a cheque for 10,000 pounds.

When they were married Alan Trevor was the best man, and the Baron made a speech at the wedding breakfast.

"Millionaire models," remarked Alan, "are rare enough; but, by Jove, model millionaires are rarer still!"

<http://www.readbookonline.net/readOnline/3249/>

образно, для меня – художественно красиво; то, что для вас лохмотья, имеет для меня в данном случае высокую ценность. Но я, впрочем, все-таки передам ему ваше предложение».

«О, Алан! – произнес Гугэ. – Вы, художники, почти все бессердечные люди!..».

«Сердце артиста находится в его голове, – возразил Тревор. – Но, помимо всего, мы должны видеть мир таким, как он есть, не переделывая его согласно нашему разуму. Но оставим об этом... Расскажите мне лучше, что нового слышно с Лаурой. Мой позировщик очень заинтересован ею».

– Не хотите ли вы сказать, что вы ему рассказывали о ней?..

– Да, именно. Он знает обо всем: о неумолимом полковнике, о прекрасной Лауре и о десяти тысячах фунтов.

«То есть как! – вскричал вне себя расвирепевший Гугэ. – Вы рассказывали этому нищему старику о моих личных делах?!».

Он покраснел и трясся, как в лихорадке, от негодования.

«Милый Гугэ! – возразил, усмехаясь Тревор. – Этот, как вы его называете, нищий старик – один из богатейших людей в Европе. Он мог бы завтра же откупить весь Лондон, не истощив своего состояния. У него во всех европейских столицах собственные отели и дворцы. Он ест из золотых блюд и мог бы, по желанию, завтра же прекратить или начать с Россией войну».

– О чем это вы мне рассказываете?..

«Слушайте внимательно, – возразил Тревор. – Старик, которого вы сегодня видели в моем ателье, – барон де-Гаусберг. Он покупает все мои картины, не говоря уже о других. Месяц тому назад он предложил мне написать его портрет в костюме нищего. Что же вам еще?.. Это – фантазия миллионера, и я должен признать, что он в своих лохмотьях – прекраснейшая модель нищего. То есть, я должен был бы сказать: он в моих лохмотьях. Я получил этот старый костюм из Испании».

– Боже мой!.. Боже... Это барон Гаусберг!.. И это ему я отдал сегодня фунт?..

И, пораженный и разочарованный, он упал в кресло.

«Вы дали ему фунт?! – вскричал, разразившись громким хохотом, Тревор. – Милый друг, вы его уже не увидите больше!.. Его дело – деньги чужих».

«Черт знает, что такое!.. Но мне кажется, Алан, что вы могли бы предупредить меня, – произнес он смущенно, – вместо того, чтобы

допустить с моей стороны такой глупый поступок... и при том столь смешной!..».

«Позвольте, Гугэ, – произнес Тревор. – Раньше всего, я никогда не предполагал, что вы способны так необдуманно и щедро расточать милостыни. Я понимаю, если бы вы обняли и поцеловали красивую натурщицу, но отдать уроду-натурщику фунт?.. Клянусь Юпитером, что я не ожидал этого!.. Затем, с другой стороны, дверь моего ателье была сегодня заперта решительно для всех. Я думаю, кроме того, что Гаусберг не был бы особенно доволен, если бы услышал при вас свою фамилию. Вы сами видели: он был одет не в бальный наряд!».

«Я уверен, – произнес огорченный Гугэ, – что он меня принял за жулика...».

– Ничего подобного!.. Вы положительно очаровали его!.. Он не переставал говорить о вас и все время потирал свои морщинистые руки. Я спрашивал себя несколько раз: почему это он так сильно интересуется всем, что касается вас? И я никак не мог понять этого. Но теперь все совершенно ясно!.. Он, наверное, поместит этот фунт на ваше имя и каждые шесть месяцев будет присылать вам причитающиеся проценты. А, кроме того, у него теперь есть отличная история для рассказа за десертом.

«Черт возьми! – гремел Гугэ, – я поступил дьявольски глупо, и самое лучшее для меня – это теперь пойти спать. Что же касается до вас, Алан, то, ради Бога! – не говорите об этом ни слова! Я никому не сумею показывать¹ своих глаз».

«Ерунда!.. – весело произнес Тревор. – Это, напротив, делает высшую честь вашему филантропическому чувству. Слушайте, Гугэ, да куда же вы?.. Не уходите!.. Рассказывайте мне лучше о Лауре...».

Но Гугэ вышел.

Он чувствовал себя самым несчастным в мире человеком. Домой он доплелся пешком. И его горю не было пределов при воспоминании о том, что он оставил Алана в клубе в припадке безумного смеха. Он чувствовал себя как бы оскорбленным.

На следующее утро слуга подал ему во время завтрака визитную карточку со следующей надписью: «Густав Ноден, представитель барона де-Гаусберг».

¹ Так в тексте.

«Я убежден, – подумал Гугэ, – что он явился за удовлетворением! Он без сомнения потребует от меня извинения...».

Он приказал слуге впустить господина.

В комнату вошел старый джентльмен в золотых очках и серой шевелюрой.

– Я имею честь говорить с господином Гугэ Эрскин?..

Гугэ поклонился.

«Я явился к вам от имени барона де-Гаусберг!» – произнес он.

Барон де-Гаус...

По спине Гугэ пробежал мороз.

«Я прошу вас, сударь, – пробормотал он, перебивая Нодена, – передайте барону, что я искренно извиняюсь пред ним... что я...»

«Барон де-Гаусберг, – продолжал старый джентльмен, – поручил мне передать вам вот это письмо».

И он протянул ему запечатанный конверт.

На конверте были четким почерком написаны следующие слова: «Свадебный подарок, предложенный Гугэ Эрскин и Лауре Мертон старым нищим». А в конверте оказался чек на десять тысяч фунтов.

Вскоре после этого состоялось венчание Гугэ и Лауры. Алан был шафером, а барон де-Гаусберг произнес за свадебным ужином речь.

«Натурщики в роли миллионеров, – заметил Гугэ Алан, – встречаются довольно редко, но миллионеры в роли натурщиков – о! это еще большая редкость!».

Е.Г.

Перевод опубликован в «Сибирской жизни», 1906, № 145 (9 июля). С. 2.

The Sphinx without a Secret (1891)

One afternoon I was sitting outside the Cafe de la Paix, watching the splendour and shabbiness of Parisian life, and wondering over my vermouth at the strange panorama of pride and poverty that was passing before me, when I heard some one call my name. I turned round, and saw Lord Murchison. We had not met since we had been at college together, nearly ten years before, so I was delighted to come across him again, and we shook hands warmly. At Oxford we had been great friends. I had liked him immensely, he was so handsome, so high-spirited, and so honourable. We used to say of him that he would be the best of fellows, if he did not always speak the truth, but I think we really admired him all the more for his frankness. I found him a good deal changed. He looked anxious and puzzled, and seemed to be in doubt about something. I felt it could not be modern scepticism, for Murchison was the stoutest of Tories, and believed in the Pentateuch as firmly as he believed in the House of Peers; so I concluded that it was a woman, and asked him if he was married yet.

"I don't understand women well enough," he answered.

"My dear Gerald," I said, "women are meant to be loved, not to be understood."

"I cannot love where I cannot trust," he replied.

"I believe you have a mystery in your life, Gerald," I exclaimed; "tell me about it."

"Let us go for a drive," he answered, "it is too crowded here. No, not a yellow carriage, any other colour – there, that dark green one will do"; and in a few moments we were trotting down the boulevard in the direction of the Madeleine.

"Where shall we go to?" I said.

"Oh, anywhere you like!" he answered – "to the restaurant in the Bois; we will dine there, and you shall tell me all about yourself."

"I want to hear about you first," I said. "Tell me your mystery."

He took from his pocket a little silver-clasped morocco case, and handed it to me. I opened it. Inside there was the photograph of a woman. She was tall and slight, and strangely picturesque with her large vague eyes and loosened hair. She looked like a clairvoyante, and was wrapped in rich furs.

"What do you think of that face?" he said; "is it truthful?"

Сфинкс без тайн и загадок

Медленно попивая из своего стакана холодный гренадин, я с любопытством рассматривал развернутую предо мною пеструю панораму парижской жизни, в которой так странно и тесно переплетались и смешивались великолепие с убожеством, гордость с нищетою, излишество с рубищами и красота с уродством... Но мои наблюдения были внезапно прерваны раздавшимся сзади меня моим именем.

Я оглянулся и увидел перед собою лорда Мюрчизона, с которым я не встречался уже добрых десять лет со времени нашего окончания колледжа. Понятно, что эта встреча нас чрезвычайно обрадовала, и мы обменялись друг с другом горячим рукопожатием.

В Оксфорде мы были когда-то большими приятелями и любили друг друга. Он был необыкновенно добр, привлекателен и благороден. Мы часто говорили, что если бы не излишнее, можно сказать, болезненное пристрастие лорда к правдивости, он мог бы считаться самым лучшим человеком в мире... хотя в действительности я думаю, что Мюрчизон пользовался всеобщими симпатиями главным образом за его любовь к правде и свободе.

Теперь я нашел его несколько изменившимся. Он был рассеян и имел вид человека, чем-то очень взволнованного и расстроенного. Печать сомнения и неопределенности лежала на его лице. Что могло так взволновать лорда?.. Во всяком случае – не новейшие теории скептицизма, которые были для него совершенно неприемлемы. Я пришел к заключению, что только женщина могла его до такой степени взбудоражить. Я спросил его, не женат ли он.

«Я еще недостаточно понимаю женщин», – ответил он.

«Дорогой Джерольд, – поспешил я его успокоить, – женщины созданы для того, чтобы их любить, а не для того, чтобы их понимать».

«Но я никогда не мог бы любить, если бы раньше не поверил ей», – возразил он.

– Мне кажется, что жизнь поднесла вам какой-то сюрприз в этом отношении...

«Да, – перебил он меня. – Я хочу рассказать вам эту историю. Возьмите карету и поедem прокатиться: здесь слишком много народу... Нет, нет, только не эту желтую карету – какого угодно цвета, только не желтую!.. Вот эту темно-зеленую... здесь будет лучше!..».

I examined it carefully. It seemed to me the face of some one who had a secret, but whether that secret was good or evil I could not say. Its beauty was a beauty moulded out of many mysteries – the beauty, in fact, which is psychological, not plastic--and the faint smile that just played across the lips was far too subtle to be really sweet.

"Well," he cried impatiently, "what do you say?"

"She is the Gioconda in sables," I answered. "Let me know all about her."

"Not now," he said; "after dinner," and began to talk of other things.

When the waiter brought us our coffee and cigarettes I reminded Gerald of his promise. He rose from his seat, walked two or three times up and down the room, and, sinking into an armchair, told me the following story:

"One evening," he said, "I was walking down Bond Street about five o'clock. There was a terrific crush of carriages, and the traffic was almost stopped. Close to the pavement was standing a little yellow brougham, which, for some reason or other, attracted my attention. As I passed by there looked out from it the face I showed you this afternoon. It fascinated me immediately. All that night I kept thinking of it, and all the next day. I wandered up and down that wretched Row, peering into every carriage, and waiting for the yellow brougham; but I could not find *ma belle inconnue*, and at last I began to think she was merely a dream. About a week afterwards I was dining with Madame de Rastail. Dinner was for eight o'clock; but at half-past eight we were still waiting in the drawing-room. Finally the servant threw open the door, and announced Lady Alroy. It was the woman I had been looking for. She came in very slowly, looking like a moonbeam in grey lace, and, to my intense delight, I was asked to take her in to dinner. After we had sat down, I remarked quite innocently, "I think I caught sight of you in Bond Street some time ago, Lady Alroy." She grew very pale, and said to me in a low voice, "Pray do not talk so loud; you may be overheard." I felt miserable at having made such a bad beginning, and plunged recklessly into the subject of the French plays. She spoke very little, always in the same low musical voice, and seemed as if she was afraid of some one listening. I fell passionately, stupidly in love, and the indefinable atmosphere of mystery that surrounded her excited my most ardent curiosity. When she was going away, which she did very soon after dinner, I asked her if I might call and see her. She hesitated for a moment, glanced round to see if any one was near us, and then said, "Yes; to-morrow at a quarter to five." I begged Ma-

Через несколько минут мы очутились на площади, около храма св. Магдалины.

«Куда же мы пойдем?» – спросил я.

– Куда хотите... пойдите в ресторан пообедать, а тем временем вы расскажете мне все, что с вами произошло.

«Но я хотел бы раньше выслушать вас! – ответил я. – Расскажите мне вашу таинственную историю».

Он вынул из кармана маленький кожаный портфельчик с серебряным затвором и подал его мне. Я открыл его и увидел фотографию женщины. Она была крупного роста, хорошо сложена и необыкновенно красива. Её лучезарные глаза и длинные волнистые волосы придавали её лицу вид пророка или святого. Она была одета в драгоценные меха.

«Как вам нравится это лицо? – обратился ко мне лорд. – Внушает ли оно вам доверие?».

Я внимательно всмотрелся в фотографию. Мне показалось, что эта женщина скрывала за собою что-то, что она хранила в душе что-то таинственное, необыкновенное... Но что было это «таинственное», я, конечно, определить не мог... Вся её красота казалась мне созданной из множества тайн, это была скорее психологическая, чем пластическая красота, а царившая на её губах тонкая насмешливая улыбка была слишком лукава, чтобы она могла кого-нибудь очаровать.

«Ну!.. – крикнул он нетерпеливо, – что же вы скажете о ней?!».

«Это – Джоконда в черном, – ответил я. – Расскажите мне все, что вы о ней знаете».

– Не теперь. Лучше после обеда.

И мы заговорили о посторонних вещах.

Когда лакей подал кофе и сигары, я напомнил Джерольду об его обещании.

Он поднялся со стула и два или три раза прошелся по комнате из угла в угол. Затем он сел в глубокое кресло и рассказал мне следующую историю:

Однажды в пятом часу вечера я гулял в Лондоне по Бонд-стрит.

Движение по этой улице в эту пору всегда бывает очень велико, но на этот раз движение было необычайное: экипажи совершенно загроздили улицу и приостановили, таким образом, курсирование пешеходов. Все остановились у края тротуара и ждали, пока откроется возможность перейти на другую сторону улицы. Я тоже остано-

dame de Rastail to tell me about her; but all that I could learn was that she was a widow with a beautiful house in Park Lane, and as some scientific bore began a dissertation on widows, as exemplifying the survival of the matrimonially fittest, I left and went home.

The next day I arrived at Park Lane punctual to the moment, but was told by the butler that Lady Alroy had just gone out. I went down to the club quite unhappy and very much puzzled, and after long consideration wrote her a letter, asking if I might be allowed to try my chance some other afternoon. I had no answer for several days, but at last I got a little note saying she would be at home on Sunday at four and with this extraordinary postscript: "Please do not write to me here again; I will explain when I see you." On Sunday she received me, and was perfectly charming; but when I was going away she begged of me, if I ever had occasion to write to her again, to address my letter to "Mrs. Knox, care of Whittaker's Library, Green Street." "There are reasons," she said, "why I cannot receive letters in my own house."

All through the season I saw a great deal of her, and the atmosphere of mystery never left her. Sometimes I thought that she was in the power of some man, but she looked so unapproachable, that I could not believe it. It was really very difficult for me to come to any conclusion, for she was like one of those strange crystals that one sees in museums, which are at one moment clear, and at another clouded. At last I determined to ask her to be my wife: I was sick and tired of the incessant secrecy that she imposed on all my visits, and on the few letters I sent her. I wrote to her at the library to ask her if she could see me the following Monday at six. She answered yes, and I was in the seventh heaven of delight. I was infatuated with her: in spite of the mystery, I thought then – in consequence of it, I see now. No; it was the woman herself I loved. The mystery troubled me, maddened me. Why did chance put me in its track?

"You discovered it, then?" I cried.

"I fear so," he answered. "You can judge for yourself."

When Monday came round I went to lunch with my uncle, and about four o'clock found myself in the Marylebone Road. My uncle, you know, lives in Regent's Park. I wanted to get to Piccadilly, and took a short cut through a lot of shabby little streets. Suddenly I saw in front of me Lady Alroy, deeply veiled and walking very fast. On coming to the last house in the street, she went up the steps, took out a latch-key, and let herself in. "Here is the mystery," I said to myself; and I hurried on and examined the house. It seemed a sort of place for letting lodgings. On the doorstep lay

вился, и мое внимание – я сам не знаю почему – остановилось на проезжавшем мимо меня желтом кэбе. Я случайно посмотрел в окно и увидел в нем лицо женщины, которую только что вам показал.

Она сразу меня очаровала. Всю эту ночь я не мог уснуть и не переставал думать о ней. То же самое повторилось назавтра, на третий день и т.д. Мои мысли не могли оторваться от неё ни на одну минуту. Я много раз ходил по этой проклятой Бонд-стрит в надежде встретить там желтый кэб с моей прекрасной незнакомкой, но – напрасно. Я в конце концов начал убеждать себя, что видел это лицо во сне... что таких лиц в действительности не существует...

Через восемь дней после этого мне случилось обедать у мадам Растайль. Обед был назначен в восемь часов вечера, но было уже 8 ½, а мы все еще сидели в гостиной.

Около девяти часов вечера слуга открыл дверь и произнес:

– Леди Ольрой!

Это была та дама, которую я искал. Я затрепетал, когда увидел ее. К моей великой радости мне предложили пригласить ее к обеду.

Когда мы уселись, я наивно обратился к ней: «Мне кажется, леди Ольрой, что я видел уже вас однажды, когда несколько дней тому назад гулял по Бонд-стрит».

Она в ответ на это побледнела и произнесла шепотом: «Я вас прошу не говорить так громко – нас могут услышать».

Я в душе проклял себя за это неудачное начало знакомства с нею, а вслух разразился бесконечными тирадами о французском театре. Она говорила очень мало и тихо, но красивым бархатным, музыкальным голосом. Можно было подумать, что она опасается, чтобы кто-нибудь не подслушал ее.

Я был страстно увлечен ею, а окружающая ее таинственная атмосфера возбуждала мое любопытство до последней степени.

Когда она собралась уходить – это было скоро после обеда – я спросил у неё позволения навестить ее. Она с мгновение колебалась. Потом она поглядела вокруг себя, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивает: «Приходите завтра, в 5 ½ вечера».

Я спрашивал потом о ней леди Растайль, но все, что она могла мне передать, заключалось в следующем: «Эта дама вдова! У неё роскошный дворец в Парк-Лейн. Она принадлежит к высшему лондонскому обществу».

Так как какому-то ученому болтуну из гостей вздумалось по поводу разговора о леди Ольрой прочитать нам целую диссертацию

her handkerchief, which she had dropped. I picked it up and put it in my pocket. Then I began to consider what I should do. I came to the conclusion that I had no right to spy on her, and I drove down to the club. At six I called to see her. She was lying on a sofa, in a tea-gown of silver tissue looped up by some strange moonstones that she always wore. She was looking quite lovely. "I am so glad to see you," she said; "I have not been out all day." I stared at her in amazement, and pulling the handkerchief out of my pocket, handed it to her. "You dropped this in Cumnor Street this afternoon, Lady Alroy," I said very calmly. She looked at me in terror but made no attempt to take the handkerchief. "What were you doing there?" I asked. "What right have you to question me?" she answered. "The right of a man who loves you," I replied; "I came here to ask you to be my wife." She hid her face in her hands, and burst into floods of tears. "You must tell me," I continued. She stood up, and, looking me straight in the face, said, "Lord Murchison, there is nothing to tell you." – "You went to meet some one," I cried; "this is your mystery." She grew dreadfully white, and said, "I went to meet no one." – "Can't you tell the truth?" I exclaimed. "I have told it," she replied. I was mad, frantic; I don't know what I said, but I said terrible things to her. Finally I rushed out of the house. She wrote me a letter the next day; I sent it back unopened, and started for Norway with Alan Colville. After a month I came back, and the first thing I saw in the Morning Post was the death of Lady Alroy. She had caught a chill at the Opera, and had died in five days of congestion of the lungs. I shut myself up and saw no one. I had loved her so much, I had loved her so madly. Good God! how I had loved that woman!

"You went to the street, to the house in it?" I said.

"Yes," he answered.

One day I went to Cumnor Street. I could not help it; I was tortured with doubt. I knocked at the door, and a respectable-looking woman opened it to me. I asked her if she had any rooms to let. "Well, sir," she replied, "the drawing-rooms are supposed to be let; but I have not seen the lady for three months, and as rent is owing on them, you can have them." – "Is this the lady?" I said, showing the photograph. "That's her, sure enough," she exclaimed; "and when is she coming back, sir?" – "The lady is dead," I replied. "Oh sir, I hope not!" said the woman; "she was my best lodger. She paid me three guineas a week merely to sit in my drawing-rooms now and then." "She met some one here?" I said; but the woman assured me that it was not so, that she always came alone, and

о вдовах, чтобы доказать, что выживают только наиболее приспособленные к жизни особы, то я удалился домой.

На следующий день я был в назначенную минуту в Парк-Лейн, но лакей мне передал, что леди Ольрой только что ушла.

Этот поступок взволновал и заинтриговал меня. Я отправился в клуб и после долгих размышлений решил написать ей письмо с просьбой разрешить мне встретиться с нею в следующий раз.

Ответ пришел через несколько дней. Я получил от нее маленькую записку с извещением, что она будет свободна в воскресенье в четыре часа дня. Записка эта кончилась следующим *post-scriptum*’ом: «Прошу вас не писать мне больше сюда; я объясню вам это при личной встрече».

Она была со мною на этот раз очень любезна и внимательна. Перед моим уходом она обратилась ко мне с просьбой писать ей в случае надобности записки по адресу: Мистрис Нокс, книжный магазин Уиттэкера, Грин-Стрит.

«Некоторые соображения, – добавила она, – мешают мне получать письма в своем собственном доме».

В течение этого лета я очень часто встречался с нею, но таинственная атмосфера никогда не покидала ее. Иногда мне казалось, что она находится во власти какого-то человека, но я скоро убедился в ошибочности этих предположений – она была для этого слишком горда и своенравна.

Все мои усилия разгадать её тайну или же прийти хотя бы к какому-нибудь решительному заключению разбивались в мелкиедребзги при малейшей попытке. Она была подобна тем удивительным кристаллам в музеях, которые как бы по желанию то кажутся совершенно прозрачными, то – совершенно непроницаемыми.

Я, в конце концов, решил жениться на ней. Меня утомили те бесконечные предосторожности, которыми она окружала мои посещения или получение моих редких писем. Я написал ей по адресу книжного магазина и спросил, не может ли она принять меня в понедельник в шесть часов.

Она ответила мне «да», и я от радости считал себя на седьмом небе.

Я безумно влюбился в нее. Я любил ее назло, как мне тогда казалось, окружавшей ее таинственности, но, как оказывается теперь, – именно благодаря ей.

Нет, я положительно утверждаю, что я не женщину любил в ней.

saw no one. "What on earth did she do here?" I cried. "She simply sat in the drawing-room, sir, reading books, and sometimes had tea," the woman answered. I did not know what to say, so I gave her a sovereign and went away. Now, what do you think it all meant? You don't believe the woman was telling the truth?

"I do."

"Then why did Lady Alroy go there?"

"My dear Gerald," I answered, "Lady Alroy was simply a woman with a mania for mystery. She took these rooms for the pleasure of going there with her veil down, and imagining she was a heroine. She had a passion for secrecy, but she herself was merely a Sphinx without a secret."

"Do you really think so?"

"I am sure of it," I replied.

He took out the morocco case, opened it, and looked at the photograph. "I wonder?" he said at last.

<http://www.readbookonline.net/readOnLine/3250/>

Эта тайна мучила меня, она терзала меня, она сводила меня с ума и кружила мою голову. И я напрягал все свои усилия, чтобы разгадать ее.

«И вы нашли ее?» – вскричал я.

«Не знаю, – ответил он. – Судите сами».

В этот понедельник в четыре часа дня я обедал у своего дяди. Вы знаете, что мой дядя живет в Риджент-парке, недалеко от Парк-Лейн. И вот, около пяти часов я вышел из дому, чтобы сначала немного погулять, а затем быть в назначенное время у леди Ольрой.

Мне нужно было пройти целую вереницу маленьких улочек и проулков самого подозрительного вида. Я не успел еще сделать по одному из них и ста шагов, как предо мною очутилась леди Ольрой. Её лицо было закрыто густой вуалью. Она очень спешила.

Пройдя до последнего дома, она взобралась на ведущую к нему лестничку, вынула из кармана ключ и вошла.

«Вот где разгадка тайны!» – подумал я, быстро подходя к дому, чтобы исследовать его.

На пороге лежал её носовой платок, который она случайно уронила. Я поднял его и сунул в карман. Я начал тогда обдумывать, что мне делать, и скоро пришел к заключению, что не имею права следить за нею.

Я отправился в клуб, а в шесть часов был у неё. Она была одета в серебристого цвета платье, украшенное драгоценными камнями, отливавшими светом луны, и полулежала на софе. Она была со мною очень любезна.

«Мне очень приятно, – сказала она, – что вы пришли. Я весь день сегодня не выходила из дому».

Это заявление изумило меня. Я вынул в ответ на это из кармана носовой платок и подал его ей.

«Вы уронили его сегодня в Коммор-стрит», – проговорил я совершенно спокойно.

Леди Ольрой вздрогнула. Её глаза сверкнули, но она не сделала ни малейшего движения, чтобы принять платок.

«Что вы там делали?» – спросил я.

Она возмутилась: «Какое вы имеете право задавать мне такие вопросы?».

– Право человека, который вас любит. Я пришел теперь просить вас сделаться моей женой.

Она закрыла лицо руками и разразилась потоками слез.

«Я бы хотел, чтобы вы мне ответили!» – произнес я.

Она поднялась с софы и, смотря мне прямо в лицо, проговорила: «Лорд Мюрчинзон, мне нечего вам отвечать».

«Вы имели там свидание! – вскрикнул я. – В нем именно скрывается ваша тайна!..»

Она страшно побледнела: «Я никому не назначала там свиданий».

«Скажите правду!» – не выдержал я.

– Я сказала уже ее.

Я был взволнован. Я не помню, что именно я сказал ей, но я знаю, что наговорил ей тогда много ужасных вещей.

В конце концов я выбежал из её дома.

На следующий день я получил её письмо, но я отослал ей его обратно нераспечатанным.

Мне необходимо было развлечься, и я отправился путешествовать в Норвегию. Через месяц я вернулся в Лондон, и первое известие, которое я прочел в «Morning Post», было известие о смерти леди Ольрой. Она простудилась в опере и через пять дней умерла от воспаления легких.

Эта смерть произвела на меня сильное впечатление. Я заперся и долгое время не хотел никого ни принимать, ни видеть. Я ее так любил, так безумно любил!.. Боже, как сильно любил я эту женщину!

«Но, вероятно, [вы] были в этой улице, в этом доме?» – спросил я.

«Да, – ответил он. – Я отправился однажды в Коммор-стрит. Я не мог удержаться, сомнения мучили меня, терзали меня».

Я постучал в дверь, и приличная на вид женщина открыла мне ее.

Я спросил ее, не может ли она сдать мне квартиру.

«Ах! Сударь, – ответила она, – я думала, что эту квартиру уже можно сдать, так как квартирантка её уже свыше трех месяцев не являлась сюда. Но срок найма, оказывается, еще не истек, и я, поэтому, не могу вам ее сдать».

«Не об этой ли даме вы говорите?» – спросил я ее, показывая ей фотографию леди Ольрой.

«Да, да! Это именно она! – вскрикнула женщина. – Но когда же она, наконец, вернется?».

«Она уже умерла», – произнес я.

– Нет!.. Не может быть!.. Это была моя лучшая хозяйка!.. Она платила по три гинеи только за то, что время от времени посещала квартиру.

«Она принимала здесь кого-нибудь?» – спросил я.

Женщина клялась, что нет, что она постоянно приходила одна, что она никогда никого не встречала с нею.

«Что же она здесь делала?» – вскрикнул я.

– Она изредка по желанию приходила сюда. Она читала здесь книги и иногда пила чай.

Я не знал, что ей на это возразить... Я дал ей фунт и вышел. Теперь, скажите мне, что все это означает, по вашему? Думаете ли вы, что женщина сказала мне правду?

– Думаю, что – да.

– Зачем же тогда леди Ольрой приходила в этот дом?

«Дорогой Джерольд, – обратился я к нему, – по моему мнению, леди Ольрой принадлежала к числу женщин, одержимых манией таинственности. Она нанимала эту квартиру просто для своего удовольствия, чтобы таинственно под густой вуалью отправляться туда и разыгрывать роль героини. Она имела безумную страсть ко всему загадочному и конспиративному, но в действительности это был самый обыкновенный сфинкс, сфинкс без тайн и загадок».

– Вы думаете?

– Я в этом убежден.

Он вынул из кармана портфель, открыл его и стал внимательно разглядывать портфель¹.

«А я все еще сомневаюсь в этом», – произнес он шепотом.

Е.Г.

Перевод опубликован в «Сибирской мысли», 1907, № 65 (14 января).
С. 2.

¹ Так в тексте. В оригинале – *фотографию*.

The Artist (1894)

One evening there came into his soul the desire to fashion an image of The Pleasure that Abideth for a Moment. And he went forth into the world to look for bronze. For he could think only in bronze.

But all the bronze of the whole world had disappeared, nor anywhere in the whole world was there any bronze to be found, save only the bronze of the image of The Sorrow that Endureth For Ever.

Now this image he had himself, and with his own hands, fashioned, and had set it on the tomb of the one thing he had loved in life. On the tomb of the dead thing he had most loved had he set this image of his own fashioning, that it might serve as a sign of the love of man that dieth not, and a symbol of the sorrow of man that endureth for ever. And in the whole world there was no other bronze save the bronze of this image.

And he took the image he had fashioned, and set it in a great furnace, and gave it to the fire.

And out of the bronze of the image of The Sorrow that Endureth For Ever he fashioned an image of The Pleasure that Abideth for a Moment.

Wilde, O. The Artist. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.literaturepage.com/read/wilde-essays-lectures-121.html> (access date: 21.02.2016)

Артист

Однажды вечером душа его воспламенилась страстным желанием создать статую *Наслаждения, которое длится одно мгновение*.

И он отправился по свету за бронзой, так как не мог видеть этого произведения иначе, как в бронзе.

Но во всем мире не оказалось и кусочка бронзы, которая как будто исчезла из недр земных. На свете остался только тот слиток бронзы, который изображал статую *Страдания, которое длится всю жизнь*.

Но это была та самая статуя, которую он создал собственными руками. Он поместил ее на могиле единственного в мире существа, которое он всю свою жизнь так горячо любил. На могиле этого умершего существа, которое он так крепко любил, поместил он эту статую – произведение рук своих.

И статуя эта служила символом бессмертной человеческой любви и символом вечных человеческих страданий.

И во всем мире не оказалось другого куска бронзы, кроме той, из которой была создана эта статуя.

И взял он статую, которую создал собственными руками, и бросил ее в великое горнило, и расплавил ее.

И из бронзовой статуи, изображавшей *Страдание, которое длится всю жизнь*, он создал статую, изображавшую *Наслаждение, которое длится одно мгновение*.

Е.Г.

Перевод опубликован в «Сибирской жизни», 1906, № 182 (24 августа). С. 2.

The Disciple (1894)

When Narcissus died the pool of his pleasure changed from a cup of sweet waters into a cup of salt tears, and the Oreads came weeping through the woodland that they might sing to the pool and give it comfort.

And when they saw that the pool had changed from a cup of sweet waters into a cup of salt tears, they loosened the green tresses of their hair and cried to the pool and said, "We do not wonder that you should mourn in this manner for Narcissus, so beautiful was he."

"But was Narcissus beautiful?" said the pool.

"Who should know that better than you?" answered the Oreads. "Us did he ever pass by, but you he sought for, and would lie on your banks and look down at you, and in the mirror of your waters he would mirror his own beauty."

And the pool answered, "But I loved Narcissus because, as he lay on my banks and looked down at me, in the mirror of his eyes I saw ever my own beauty mirrored."

Wilde, O. The Disciple. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.literaturepage.com/read/wilde-essays-lectures-124.html> (access date: 21.02.2016).

Ученик

Когда Нарцисс умер, озеро его наслаждений из чаши сладостных вод превратилось в чашу горько-соленых слез.

И явились рыдавшие Ореады из лесу и начали петь озеру песни и утешать его.

И когда они увидели, что озеро из чаши сладостных вод превратилось в чашу горько-соленых слез, они распустили зеленые локоны волос своих и косы свои и закричали озеру.

Они сказали:

«Нас не удивляет, что ты так горько плачешь над Нарциссом, который был так красив».

«Но был ли в действительности так красив Нарцисс?» – спросило озеро.

«Кто может это знать лучше тебя? – ответили Ореады. – Он нами пренебрегал, но тебя он страстно любил. Он склонялся часто над твоими берегами, и глаза его отдыхали на поверхности вод твоих, в которых он любовался своею красотой».

И озеро ответило Ореадам:

«Я очень любило Нарцисса, ибо, когда он склонялся над моими берегами и глаза его отдыхали на поверхности вод моих, я в зеркале глаз его любовалось своей собственной красотой».

Е.Г.

Перевод опубликован в «Сибирской жизни», 1906, № 182 (24 августа). С. 2.

The Doer of Good (1894)

It was night-time and He was alone.

And He saw afar-off the walls of a round city and went towards the city.

And when He came near He heard within the city the tread of the feet of joy, and the laughter of the mouth of gladness and the loud noise of many lutes. And He knocked at the gate and certain of the gate-keepers opened to Him.

And He beheld a house that was of marble and had fair pillars of marble before it. The pillars were hung with garlands, and within and without there were torches of cedar. And He entered the house.

And when He had passed through the hall of chalcedony and the hall of jasper, and reached the long hall of feasting, He saw lying on a couch of sea-purple one whose hair was crowned with red roses and whose lips were red with wine.

And He went behind him and touched him on the shoulder and said to him, "Why do you live like this?"

And the young man turned round and recognised Him, and made answer and said, "But I was a leper once, and you healed me. How else should I live?"

And He passed out of the house and went again into the street.

And after a little while He saw one whose face and raiment were painted and whose feet were shod with pearls. And behind her came, slowly as a hunter, a young man who wore a cloak of two colours. Now the face of the woman was as the fair face of an idol, and the eyes of the young man were bright with lust.

And He followed swiftly and touched the hand of the young man and said to him, "Why do you look at this woman and in such wise?"

And the young man turned round and recognised Him and said, "But I was blind once, and you gave me sight. At what else should I look?"

Wilde, O. The Doer of Good. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.literaturepage.com/read/wilde-essays-lectures-122.html> (access date: 21.02.2016).

Творец добра

Была ночь, и Он был один.

И увидел Он издалека стены огромного города и пошел по направлению к нему.

И услышал Он, приблизившись к нему, как пляшет там наслаждение, как хохочет там излишество и как беспечно-весело и шумно играют там на многочисленных лютнях.

И постучал Он в ворота города, и открыл их Ему привратник.

И увидел Он чудесный беломраморный дворец с великолепными беломраморными колоннадами.

И были эти колоннады разукрашены розовыми гирляндами, а внутри и снаружи дворец сиял огнями пахучих факелов из ливанского кедра.

И прошел Он во дворец.

И миновал Он первые покои из порфира и вторые покои из яшмы и очутился Он в огромной зале, предназначенной для пиршеств.

И увидел Он на постели из морского пурпура юношу с алыми, как вино, губами. И были кудри этого юноши увенчаны красными пахучими розами.

И подошел Он к нему, и коснулся плеча его, и спросил его:

«Почему живешь ты так?».

И юноша оглянулся и узнал Его.

И сказал он Ему:

«Я некогда страдал ужасною проказою, но Ты излечил меня. Как же жить мне теперь иначе?».

И увидел Он несколько вдали женщину. И было лицо её нарумянено, одежда соткана из пестрых и ярких цветов, а ноги разукрашены драгоценными перлами.

И к ней тихо и медленно, как охотник, направлялся юноша, одетый в двухцветный плащ.

И было лицо этой женщины красиво, точно образ идола, а в глазах молодого юноши сверкала и бушевала страсть.

И Он быстро подошел к нему.

И коснулся Он плеча его и сказал ему:

«Почему смотришь ты так на эту женщину?».

И юноша оглянулся и узнал Его.
И сказал он Ему:
«Я некогда был слеп, но Ты дал мне зрение. Как же смотреть мне теперь иначе?».
И приблизился Он к женщине, и коснулся ярких одежд её, и сказал ей:
«Здесь нет другого пути, кроме пути грехов?».
И оглянулась она и узнала Его.
И сказала она Ему:
«Ты некогда простил мне все грехи мои, а путь этот в жизни самый веселый и приятный. Как же жить мне иначе?».
И Он удалился из дворца и вышел из города.
И увидел Он, как на большой дороге сидит юноша и горько плачет.
И приблизился Он к нему, и коснулся рукою длинных локонов волос его, и сказал ему:
«Почему плачешь ты?».
И поднял юноша голову, и взглянул на Него и узнал Его.
И сказал он Ему:
«Я однажды умер, но Ты воскресил меня из мертвых. Что же делать мне теперь, как не плакать?».

Е.Г.

Перевод опубликован в «Сибирской мысли», 1907, № 85 (8 февраля). С. 2.

The Nightingale and the Rose (1888)

"She said that she would dance with me if I brought her red roses," cried the young Student; "but in all my garden there is no red rose."

From her nest in the holm-oak tree the Nightingale heard him, and she looked out through the leaves, and wondered.

"No red rose in all my garden!" he cried, and his beautiful eyes filled with tears. "Ah, on what little things does happiness depend! I have read all that the wise men have written, and all the secrets of philosophy are mine, yet for want of a red rose is my life made wretched."

Соловей и роза

«Она сказала, что будет танцевать со мною, если я ей принесу красных роз, – произнес, тяжело вздыхая, молодой студент. – Но во всем моем саду нет ни одной красной розы».

Эти слова услышал соловей, приютившийся на зеленом дубе в гнездышке.

Он глядел сквозь зеленую листву и изумлялся.

«Нет красных роз в моем саду! – восклицал громко студент, и его красивые глаза наполнились слезами. – Боже, от каких ничтожных вещей зависит счастье! Я изучал все, что мудрецы написали: я владею всеми тайнами философии, но у меня нет красной розы и – вот моя жизнь разбита».

"Here at last is a true lover," said the Nightingale. "Night after night have I sung of him, though I knew him not: night after night have I told his story to the stars, and now I see him. His hair is dark as the hyacinth-blossom, and his lips are red as the rose of his desire; but passion has made his face like pale ivory, and sorrow has set her seal upon his brow."

"The Prince gives a ball to-morrow night," murmured the young Student, "and my love will be of the company. If I bring her a red rose she will dance with me till dawn. If I bring her a red rose, I shall hold her in my arms, and she will lean her head upon my shoulder, and her hand will be clasped in mine. But there is no red rose in my garden, so I shall sit lonely, and she will pass me by. She will have no heed of me, and my heart will break."

"Here indeed is the true lover," said the Nightingale. "What I sing of, he suffers – what is joy to me, to him is pain. Surely Love is a wonderful thing. It is more precious than emeralds, and dearer than fine opals. Pearls and pomegranates cannot buy it, nor is it set forth in the marketplace. It may not be purchased of the merchants, nor can it be weighed out in the balance for gold."

"The musicians will sit in their gallery," said the young Student, "and play upon their stringed instruments, and my love will dance to the sound of the harp and the violin. She will dance so lightly that her feet will not touch the floor, and the courtiers in their gay dresses will throng round her. But with me she will not dance, for I have no red rose to give her"; and he flung himself down on the grass, and buried his face in his hands, and wept.

"Why is he weeping?" asked a little Green Lizard, as he ran past him with his tail in the air.

"Why, indeed?" said a Butterfly, who was fluttering about after a sunbeam.

"Why, indeed?" whispered a Daisy to his neighbour, in a soft, low voice.

"He is weeping for a red rose," said the Nightingale.

"For a red rose?" they cried; "how very ridiculous!" and the little Lizard, who was something of a cynic, laughed outright.

But the Nightingale understood the secret of the Student's sorrow, and she sat silent in the oak-tree, and thought about the mystery of Love.

Suddenly she spread her brown wings for flight, and soared into the air. She passed through the grove like a shadow, and like a shadow she sailed across the garden.

«Вот, наконец, предо мною истинно влюбленный, – произнес соловей. – Я каждую ночь распевал ему свои песни, хотя не знал его, каждую ночь я рассказывал звездам его историю, и теперь, наконец, он перед моими глазами. Его волосы темны, как цветок жасмина, его губы алы, как красная роза, которую [он] ищет, но страсть сделала его лицо бледным, как слоновая кость, а горе наложило на его лоб печать уныния и отчаяния».

«Завтра в замке принца бал, – шептал между тем юноша, – и предмет моей любви будет присутствовать на этом празднестве. Если я ей принесу красную розу, она будет танцевать со мною до самой зари. Если я ей принесу красную розу, я сумею сжать ее в своих объятиях. Она прильнет своей головкой к моему плечу и рукой своей обнимет мою руку. Но в моем саду нет красных роз. И я останусь один, и она пренебрежет мною. Она не обратит на меня никакого внимания и сломает мое сердце».

«Вот действительно влюбленный! – сказал соловей. – Все, о чем я пою, доставляет ему страшные страдания; все, что радует меня, тяжело мучает его. Поистине, любовь чудесна: она драгоценнее изумрудов и богаче самых тонких опалов. Ни перлы, ни гранаты не могут окупить ее, ибо она не появляется на рынках. Ее нельзя найти у торговцев, как ее нельзя и взвесить, чтобы приобрести на вес золота».

«Музыканты соберутся на эстраде, – говорил молодой студент. – Они будут играть на своих струнных инструментах... и мое чувство будет трепетать при звуках арф и скрипок. Она будет веселиться с такою легкостью, что ноги её не коснутся паркета, и гости радостной толпой окружают ее, только со мною она не захочет танцевать, так как у меня нет красных роз».

И он упал на траву, закрыл руками свое лицо и горько заплакал.

«Почему он плачет?» – спросила зеленая ящерица, которая в это время пробегала мимо него с поднятым вверх хвостом.

«Почему? Почему?» – спросила также бабочка, порхавшая в волнах солнечных лучей.

«Почему же?» – сладким голосом прошептал подснежник, колышавшийся здесь же, близко от него.

– Он плачет, потому что у него нет красной розы.

– Красной розы? Как это смешно!

И зеленая ящерица с несколько циничной развязностью во все горло расхохоталась.

In the centre of the grass-plot was standing a beautiful Rose-tree, and when she saw it she flew over to it, and lit upon a spray.

"Give me a red rose," she cried, "and I will sing you my sweetest song."

But the Tree shook its head.

"My roses are white," it answered; "as white as the foam of the sea, and whiter than the snow upon the mountain. But go to my brother who grows round the old sun-dial, and perhaps he will give you what you want."

So the Nightingale flew over to the Rose-tree that was growing round the old sun-dial.

"Give me a red rose," she cried, "and I will sing you my sweetest song."

But the Tree shook its head.

"My roses are yellow," it answered; "as yellow as the hair of the mermaid who sits upon an amber throne, and yellower than the daffodil that blooms in the meadow before the mower comes with his scythe. But go to my brother who grows beneath the Student's window, and perhaps he will give you what you want."

So the Nightingale flew over to the Rose-tree that was growing beneath the Student's window.

"Give me a red rose," she cried, "and I will sing you my sweetest song."

But the Tree shook its head.

"My roses are red," it answered, "as red as the feet of the dove, and redder than the great fans of coral that wave and wave in the ocean-cavern. But the winter has chilled my veins, and the frost has nipped my buds, and the storm has broken my branches, and I shall have no roses at all this year."

"One red rose is all I want," cried the Nightingale, "only one red rose! Is there no way by which I can get it?"

"There is away," answered the Tree; "but it is so terrible that I dare not tell it to you."

"Tell it to me," said the Nightingale, "I am not afraid."

"If you want a red rose," said the Tree, "you must build it out of music by moonlight, and stain it with your own heart's-blood. You must sing to me with your breast against a thorn. All night long you must sing to me, and the thorn must pierce your heart, and your life-blood must flow into my veins, and become mine."

Но соловей понял истинную причину горя юноши. Он безмолвно продолжал сидеть в ветвях зеленого дуба и только задумался о тайнах любви. Но вдруг он расправил свои темные крылышки, приободрился и полетел.

Таинственной тенью он прорезал лес и тихо, как тень, пролетел мимо сада.

В глубине цветника величаво поднимался красивый розовый куст. И соловей приблизился к нему и уселся на одной из его тонких и гибких веточек.

«Дай мне одну красную розу, – начал он, – и я спою тебе лучшие из моих песен».

Но розовый куст покачал головой:

«Мои розы белы, – ответил он. – Они белы, как морская пена, они еще белее, чем снег на горах. Но обратись к моему брату, который растет недалеко отсюда около солнечных часов, он может дать тебе то, что ты ищешь».

Соловей полетел к розовому кусту, что рос около солнечных часов.

«Дай мне одну красную розу, – попросил он, – и я спою тебе лучшие из своих песен».

Но розовый куст покачал головой.

«Мои розы желты, – ответил он. – Они желты, как косы сирен, которые прячутся здесь, в деревьях, они еще желтее нарцисса, который сияет в полях, пока косари не скосят его. Отправляйся к моему брату, который цветет под окном у юноши студента и, может быть, он даст тебе то, что ты ищешь».

Тогда соловей полетел к розовому кусту, который возвышался под окном юноши студента.

«Дай мне одну красную розу, – начал он, – и я спою тебе лучшие из моих песен».

Но розовый куст покачал головой.

«Мои розы красны, – ответил он. – Они красны, как лапки голубей, они еще краснее кроваво-красных кораллов, которые океан убаюкивает в своих безднах, но зимняя стужа заморозила мои вены, снег погубил мои цветы, а ураган сломал мои ветви, и не будет больше роз у меня в этом году».

«Но мне нужна всего только одна роза! – воскликнул соловей. – Одна только красная роза! Нет ли средства как-нибудь добыть у тебя одну только розу?»

"Death is a great price to pay for a red rose," cried the Nightingale, "and Life is very dear to all. It is pleasant to sit in the green wood, and to watch the Sun in his chariot of gold, and the Moon in her chariot of pearl. Sweet is the scent of the hawthorn, and sweet are the bluebells that hide in the valley, and the heather that blows on the hill. Yet Love is better than Life, and what is the heart of a bird compared to the heart of a man?"

So she spread her brown wings for flight, and soared into the air. She swept over the garden like a shadow, and like a shadow she sailed through the grove.

The young Student was still lying on the grass, where she had left him, and the tears were not yet dry in his beautiful eyes.

"Be happy," cried the Nightingale, "be happy; you shall have your red rose. I will build it out of music by moonlight, and stain it with my own heart's-blood. All that I ask of you in return is that you will be a true lover, for Love is wiser than Philosophy, though she is wise, and mightier than Power, though he is mighty. Flame- coloured are his wings, and coloured like flame is his body. His lips are sweet as honey, and his breath is like frankincense."

The Student looked up from the grass, and listened, but he could not understand what the Nightingale was saying to him, for he only knew the things that are written down in books.

But the Oak-tree understood, and felt sad, for he was very fond of the little Nightingale who had built her nest in his branches.

"Sing me one last song," he whispered; "I shall feel very lonely when you are gone."

So the Nightingale sang to the Oak-tree, and her voice was like water bubbling from a silver jar.

When she had finished her song the Student got up, and pulled a notebook and a lead-pencil out of his pocket.

"She has form," he said to himself, as he walked away through the grove – "that cannot be denied to her; but has she got feeling? I am afraid not. In fact, she is like most artists; she is all style, without any sincerity. She would not sacrifice herself for others. She thinks merely of music, and everybody knows that the arts are selfish. Still, it must be admitted that she has some beautiful notes in her voice. What a pity it is that they do not mean anything, or do any practical good." And he went into his room, and lay down on his little pallet-bed, and began to think of his love; and, after a time, he fell asleep.

«Одно только средство существует, – ответил розовый куст, – но оно так ужасно, что я боюсь даже назвать его».

«Скажи его, – произнес соловей. – Я не трус».

«Если тебе нужна красная роза, – заговорил куст, – ты должен сам при лунном свете создать ее мелодиями песен своих и окрасить ее кровью твоего собственного сердца. Ты будешь мне петь и в горло свое воткнешь одну из моих игл. Ты должен петь всю ночь, пока шипы не пронзят твоего сердца: твоя живая кровь перельется в мои вены и сделается моей».

«Смерть – слишком дорогая цена за красную розу, – возразил соловей, – и я очень люблю жизнь. Сладостно-приятно порхать в зеленеющем саду и любоваться золотом лучезарного солнца и перлами сияющей луны. Прелестен запах кустов боярышника, милы голубые колокольчики, которые прячутся в глубоких долинах, и прекрасны туманы, которые окутывают холмы и горы. Но любовь лучше жизни. Что такое птичье сердечко в сравнении с сердцем человека».

И, расправив свои темные крылышки, он взвился в воздух.

Он тихо, как шорох, пролетел по саду и таинственной тенью прорезал лес.

Молодой студент все еще лежал на траве, где соловей его раньше оставил, и горячие слезы еще не успели высохнуть в его прекрасных глазах.

«Вы будете счастливы! – закричал ему издали соловей. – Вы будете счастливы, у вас будет красная роза. Я создам ее мелодиями своих песен при лунном сиянии и окрашу ее кровью своего собственного сердца. Но одного я прошу у вас взамен этого: вы должны любить истинно и верно, так как любовь мудрее философии, как ни мудра эта последняя, и сильнее могущества, как ни сильно оно само. Её крылья – огонь, её тело – пламя, её губы сладки, как мед, и её дыхание ароматно, как ладан».

Студент приподнял вверх свои глаза и внимательно прислушался. Но он не понимал речей соловья, так как он не знал ничего, кроме того, что писали в книгах.

Но зеленый дуб все понял и сильно огорчился, так как он очень полюбил маленького соловья, который в его ветвях построил себе гнездышко.

«Спой мне свою последнюю песнь, – прошептал он. – Я погружу в печаль, когда ты улетишь от меня».

And when the Moon shone in the heavens the Nightingale flew to the Rose-tree, and set her breast against the thorn. All night long she sang with her breast against the thorn, and the cold crystal Moon leaned down and listened. All night long she sang, and the thorn went deeper and deeper into her breast, and her life-blood ebbed away from her.

She sang first of the birth of love in the heart of a boy and a girl. And on the top-most spray of the Rose-tree there blossomed a marvellous rose, petal following petal, as song followed song. Pale was it, at first, as the mist that hangs over the river – pale as the feet of the morning, and silver as the wings of the dawn. As the shadow of a rose in a mirror of silver, as the shadow of a rose in a water-pool, so was the rose that blossomed on the topmost spray of the Tree.

But the Tree cried to the Nightingale to press closer against the thorn. "Press closer, little Nightingale," cried the Tree, "or the Day will come before the rose is finished."

So the Nightingale pressed closer against the thorn, and louder and louder grew her song, for she sang of the birth of passion in the soul of a man and a maid.

And a delicate flush of pink came into the leaves of the rose, like the flush in the face of the bridegroom when he kisses the lips of the bride. But the thorn had not yet reached her heart, so the rose's heart remained white, for only a Nightingale's heart's-blood can crimson the heart of a rose.

And the Tree cried to the Nightingale to press closer against the thorn. "Press closer, little Nightingale," cried the Tree, "or the Day will come before the rose is finished."

So the Nightingale pressed closer against the thorn, and the thorn touched her heart, and a fierce pang of pain shot through her. Bitter, bitter was the pain, and wilder and wilder grew her song, for she sang of the Love that is perfected by Death, of the Love that dies not in the tomb.

And the marvellous rose became crimson, like the rose of the eastern sky. Crimson was the girdle of petals, and crimson as a ruby was the heart.

But the Nightingale's voice grew fainter, and her little wings began to beat, and a film came over her eyes. Fainter and fainter grew her song, and she felt something choking her in her throat.

Then she gave one last burst of music. The white Moon heard it, and she forgot the dawn, and lingered on in the sky. The red rose heard it, and it trembled all over with ecstasy, and opened its petals to the cold morn

И соловей спел дубу песнь, и его голос струился точно вода из серебряного фонтана.

Когда же он кончил свою песнь, студент поднялся с травы и вынул из кармана свою памятную книжку и карандаш.

«Соловей, – сказал он себе, гуляя по аллее, – обладает неотразимой красотой, но есть ли в нем также и чувство? Я думаю, что нет. Он как большинство артистов, обладает стилем и выдержкой, но в нем нет искренности. Он не жертвует собою для других. Он думает только о музыке, а всем известно, что искусство эгоистично. Нельзя отрицать, что его голос обладает сильными высокими нотами. Как, однако, жалко, что во всем этом нет мысли, что все это не преследует практической цели».

И он ушел домой, лег на постель и принялся грезить о своей любви.

Через некоторое время он уснул.

И когда в небе заблестела луна, соловей уселся на розовом кусте и воткнул в свое горло иглу.

Так он пел всю ночь, и хрустальная луна остановилась в своем движении и слушала его.

И всю ночь, пока он пел, шипы все более и более пронизывали его горло, и его живая кровь мало-помалу вытекала вон из его жил.

Сначала он запел о том, как зародилась в сердце юноши и девушки любовь, и в это время на одной из высших веток куста расцветала чудесная роза. Она расцветала медленно-медленно, лепесток следовал за лепестком, как песня за песней.

Сначала она казалась бледной, точно туман, что стелется над рекой, бледной, точно раннее утро и серебряные крылья зари. Она казалась сначала тенью, изображением розы на серебряном зеркале или на голубом озере.

Но розовый куст приказал соловью теснее прижаться к иглам.

«Сдави меня крепче, соловей, – произнес розовый куст, – или день наступит раньше, чем роза успеет созреть».

И соловей теснее прижался к шипам розы, и его голос полился еще звонче прежнего, ибо он пел о том, как зарождается страсть в сердце мужчины и девушки.

И слегка порозовели лепестки розы, так покрывается румянцем лицо юноши, когда он в первый раз целует губы своей возлюбленной.

ing air. Echo bore it to her purple cavern in the hills, and woke the sleeping shepherds from their dreams. It floated through the reeds of the river, and they carried its message to the sea.

"Look, look!" cried the Tree, "the rose is finished now"; but the Nightingale made no answer, for she was lying dead in the long grass, with the thorn in her heart.

And at noon the Student opened his window and looked out.

"Why, what a wonderful piece of luck!" he cried; "here is a red rose! I have never seen any rose like it in all my life. It is so beautiful that I am sure it has a long Latin name"; and he leaned down and plucked it.

Then he put on his hat, and ran up to the Professor's house with the rose in his hand.

The daughter of the Professor was sitting in the doorway winding blue silk on a reel, and her little dog was lying at her feet.

"You said that you would dance with me if I brought you a red rose," cried the Student. "Here is the reddest rose in all the world. You will wear it to-night next your heart, and as we dance together it will tell you how I love you."

But the girl frowned.

"I am afraid it will not go with my dress," she answered; "and, besides, the Chamberlain's nephew has sent me some real jewels, and everybody knows that jewels cost far more than flowers."

"Well, upon my word, you are very ungrateful," said the Student angrily; and he threw the rose into the street, where it fell into the gutter, and a cart-wheel went over it.

"Ungrateful!" said the girl. "I tell you what, you are very rude; and, after all, who are you? Only a Student. Why, I don't believe you have even got silver buckles to your shoes as the Chamberlain's nephew has"; and she got up from her chair and went into the house.

"What I a silly thing Love is," said the Student as he walked away. "It is not half as useful as Logic, for it does not prove anything, and it is always telling one of things that are not going to happen, and making one believe things that are not true. In fact, it is quite unpractical, and, as in this age to be practical is everything, I shall go back to Philosophy and study Metaphysics."

So he returned to his room and pulled out a great dusty book, and began to read.

Wilde O. The Nightingale and the Rose. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.readbookonline.net/readOnline/2180/> (access date: 21.02.2016).

Но шипы не достигли еще сердца соловья. И от этого сердце розы было тоже еще бело, так как только кровь из сердца соловья могла окрасить сердце розы. И розовый куст снова приказал соловью теснее прижаться к иглам.

«Сдави меня крепче, соловей, – сказал он, – или день наступит раньше, чем роза успеет созреть».

И соловей теснее прижался к шипам розы, которые коснулись сердца его и причинили ему жестокую боль и страдания.

И чем ужаснее, чем невыносимее становились его страдания, тем звонче, тем раскатистее лилась его песнь, ибо он пел теперь о великой и совершенной любви, о той любви, которая не умирает уже в могиле.

И чудесная роза покрылась пурпуром, как будто она выросла в Бенгалии. Пурпурными сделались её лепестки и пурпурным, как рубин, её сердце.

Но голос соловья все ослабевал. Его крылышки начали судорожно вздрагивать и глаза затмились туманом.

Его песня все более и более ослабевала. Он чувствовал, как что-то все крепче и крепче сжимает его горло.

И вдруг его песня оборвалась последним аккордом.

Белеющая луна чутко слушала всю ночь соловья. Она даже забыла аврору и несколько запоздала на небе.

Красная роза тоже слушала его. Она дрожала и в порывистом экстазе раскрыла свои лепестки холодному утру.

Эхо уносило его песни в свою пурпуровую пещеру меж утесами скал и этими звуками будило грезы уснувших стад.

И далеко в море уносила речная зыбь эти прекрасные звуки.

«Смотрите, смотрите, – заговорил розовый куст, – роза уже созрела!».

Но соловей не отвечал, он, мертвый, неподвижно лежал на засохшей траве с сердцем, проколотым колючими шипами.

Около полудня юноша открыл окно и выглянул на улицу.

«Великое, неожиданное счастье! – воскликнул он. – Вот красная роза! Я никогда в жизни не видел таких пышных роз. Она так прекрасна, что должна – я в этом уверен – по-латыни нести особенное название».

И он нагнулся и сорвал ее. Он надел свою шляпу и бегом с розою в руке отправился к профессору.

Дочь ученого сидела у порога своего дома. Она наматывала на клубок голубой шелк, и у ног её лежала её маленькая собачка.

«Вы обещали со мною танцевать, – обратился он к ней, – если я вам принесу красную розу. Вот перед вами самая красная в мире роза. Вечером, когда мы будем вместе танцевать, вы приколете ее поближе к вашему сердцу, и она расскажет вам, как сильно я вас люблю».

Но молодая девушка нахмурила брови.

«Я думаю, – ответила она, – что эта роза не подойдет к моему наряду. И, кроме того, племянник камергера прислал мне несколько брильянтов и, ни для кого не тайна, что брильянты ценятся дороже цветов».

«О! клянусь, что вы неблагодарны! – воскликнул разгневанный юноша.

И он швырнул на улицу розу, которая покатилась в ручеек. А через короткое время ее раздавила тяжелая телега.

«Неблагодарная! – передразнила его девушка. – Я говорила, что вы плохо воспитаны. Да и кто вы? Вы – простой студент. Я не думаю, чтобы вы когда-нибудь носили на башмаках серебряные застежки, какие украшают ноги племянника камергера».

И она вошла в свой дом.

«Какой вздор и какое ничтожество – любовь! – воскликнул студент, возвращаясь обратно. – Она и в половину не так полезна, как логика. Любовь ничего не способна доказать, она всегда говорит только о вещах, которых вовсе не существует, она заставляет нас верить в ложь. Она не представляет собою ничего реального, а так как в наш век все реально, то мне придется возвратиться к своей философии и метафизике».

И студент вошел в свою комнату, открыл огромный запыленный фолиант и принялся за чтение.

П.А.

Перевод опубликован в «Сибирской жизни», 1907, № 80 (29 июля). С. 2–3.

Литература

Горенинцева В.Н. Рецепция английской и американской литературы в томской периодике конца XIX – начала XX вв.: дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 2009. – 218 с.

Горенинцева В.Н. Английская драматургия в зеркале томской периодики конца XIX – начала XX вв. / В.Н. Горенинцева // Актуальные проблемы лингвистики, литературоведения и журналистики : сб. трудов молодых ученых. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2007. – С. 37–39.

Горенинцева В.Н. Творчество О. Уайльда в томской периодике начала XX вв. / В.Н. Горенинцева // Мультикультурализм в современном художественном мышлении. – Тюмень : Тип. Печатник, 2007. – С. 82–88.

Оглавление

Макс Аделер (Max Adeler, 1841–1915)	8
Bishop Potts.....	10
Заключения епископа Поттса.....	11
А. Конан Дойл (A. Conan Doyle, 1859–1930)	20
The Fiend of the Cooperage.....	24
Заколдованный остров.....	25
Р. Киплинг (R. Kipling, 1865–1936)	46
The Story of Muhammad Din.....	50
Мухаммад Дин.....	51
Lispeth.....	58
Лизбет.....	59
In Error.....	68
Самообман.....	69
Г.У. Лонгфелло (H.W. Longfellow, 1807–1882)	76
Excelsior!.....	80
Excelsior! (<i>Выше!</i>).....	81
Э.А. По (E.A. Poe, 1809–1849)	84
The Black Cat.....	86
Черная кошка.....	87
A Dream.....	102
Сновидение.....	103
М. Твен (M. Twain, 1835–1910)	104
The Recent Great French Duel.....	106
Дуэль Гамбетты.....	107
Esquimaux Maiden's Romance.....	122
Роман эскимосской девушки.....	123
Journalism in Tennessee.....	152
Журналистика в Теннесси.....	153
Luck.....	162
Счастье.....	163
Mrs. Mc Williams and The Lightning.....	174
Молния.....	175
А. Теннисон (A. Tennyson, 1809–1892)	188
The May Queen.....	190
Королева мая.....	191
О. Уайлд (O. Wilde, 1854–1900)	200

The Model Millionaire.....	206
Натурщик-миллионер.....	207
The Sphinx without a Secret	218
Сфинкс без тайн и загадок.....	219
The Artist.....	230
Артист.....	231
The Disciple.....	232
Ученик.....	233
The Doer of Good	234
Творец добра	235
The Nightingale and the Rose	236
Соловей и роза.....	237

Учебно-практическое издание

В.Н. Горенинцева, Н.Е. Никонова,
Д.А. Олицкая, Ю.И. Родченко,
Е.В. Аблогина, М.В. Павлова

ПЕРЕВОДЫ
АНГЛИЙСКОЙ
И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
ПЕРИОДИКЕ СИБИРИ

ХРЕСТОМАТИЯ

Редактор Н.А. Сидорова
Компьютерная верстка Т.В. Дьяковой

Подписано в печать 15.09.2016.

Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Печ. л. 15,8; усл. печ. л. 14,6; уч.-изд. л. 15,0. Тираж 500. Заказ

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
ООО «Новые Печатные Технологии», 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 28, стр. 1